



И.И. Панаев

Сочинения



Иван Иванович Панаев

Внук русского миллионера

(Очерки из петербургской жизни)

«Господина, о котором здесь будет идти речь, я увидел в первый раз, когда мне было лет двенадцать. Он, впрочем, тогда еще не был господином, а ребенком лет девяти, с круглым и полным личиком, с румяными и пушистыми, как у персика, щечками, с белокурыми, вьющимися волосами, с бледно-голубыми глазами, в светло-синей курточке из тончайшего сукна и с отложными батистовыми воротничками от рубашки...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0021
III.....	.0038
IV.....	.0057
V.....	.0071
VI.....	.0086
VII.....	.0099
VIII.....	.0113
IX.....	.0130
X.....	.0144

Иван Иванович Панаев
Внук русского миллионера
Листки из моих
петербургских воспоминаний

Господина, о котором здесь будет идти речь, я увидел в первый раз, когда мне было лет двенадцать. Он, впрочем, тогда еще не был господином, а ребенком лет девяти, с круглым и полным личиком, с румяными и пушистыми, как у персика, щечками, с белокурыми, вьющимися волосами, с бледно-голубыми глазками, в светло-синей курточке из тончайшего сукна и с отложными батистовыми воротничками от рубашки. Этот прелестный мальчик как будто теперь передо мною, и я живо помню то чувство зависти, которое было возбуждено во мне его курточкой и его рубашкой, потому что сукно на моей курточке было гораздо толще, а рубашки у меня были из полотна также не слишком тонкого. К тому же покрой этой курточки был какой-то особенный; видно, что она была сшита лучшим детским портным, что, между прочим, доказывали и прекрасные бронзовые пуговицы с узорами, ярко блестевшие на ней. Все это мне мгновенно бросилось в глаза, вероятно потому, что врожденное мне чувство внеш-

ней наблюдательности (за которое мне впоследствии так жестоко доставалось в литературе от моих остроумных критиков) развивалось во мне сильно под влиянием воспитания и примеров, окружавших меня. Эта изящная курточка и эта тончайшая рубашка даже несколько оскорбляли меня – и вот по какой причине. Мальчик, который щеголял в ней, не принадлежал к тому привилегированному классу, к которому принадлежу я и которым я уже гордился на тринадцатилетнем возрасте. Он был внучек богатого купца, приехавшего к моему дедушке по каким-то делам.

В ту минуту, когда купец с внучком вошли в кабинет моего дедушки, я был там.

Фигура купца также как будто теперь живая передо мною. Среднего роста, с брюшком, с окладистой седой бородой, с длинными волосами, также совершенно седыми и с серебряным блеском, с умными, пронизательными глазами, с значительной улыбкою, в которой было что-то среднее между плутоватостью и иронией, с резким ударением на о в разговоре и с обращением, в котором добродушие соединялось с безграничною самоуве-

ренностью; старик этот с первого взгляда производил впечатление. В нем было в то же время что-то осанистое, патриархальное, внушавшее к нему вдруг невольное уважение; но уважение это несколько умалялось, когда вы ближе вглядывались в старика, потому что сквозь эту патриархальность иногда проглядывали в нем гостинодворские уловки, неприятно действовавшие. Все эти наблюдения я сделал уже, разумеется, впоследствии, в возрасте более зрелом, когда случай, о котором здесь упоминать не для чего, свел меня снова с этим стариком; когда же я увидел его в первый раз, меня просто, без всяких размышлений, поразила его значительная фигура, с серебряными волосами и главное – борода; потому что гостей с бородами никогда у нас в доме не было. На старике был длинный двубортный синий сюртук, до половины прикрывавший его высокие сапоги; белый галстук обматывал его шею, отягченную медалями на разноцветных лентах, и из-за сюртука, на котором был пришпилен крест, виднелся белый жилет... Я заметил все эти подробности, хотя внимание мое сосредоточивалось с

большим любопытством на внучке купца. Чем более я смотрел на него, тем сильнее оскорбляла меня его щегольская куртка и батистовая рубашка: мое дворянское самолюбие оскорблялось мыслию, что я одет хуже купеческого сына. «Мой дедушка – генерал, а его дедушка – бородач, – думал я, – и, несмотря на это, у меня и рубашка и курточка толще!» И, огорченный этою мыслию, я посматривал на мальчика свысока, с такой гордостью, от которой мне даже теперь становится стыдно. Я хотел дать ему почувствовать, что если он одет и лучше меня, то все-таки он ни в каком случае не может стать со мною наравне.

Между тем купец, – с которым дедушка обращался с большим уважением и которого он посадил в кресла, – улыбаясь с своим несколько плутовским выражением и положив руку на голову внучку, держал такую речь моему дедушке:

– Я привез к тебе внучка своего показать, ваше превосходительство, – посмотри, какой он у меня славный мальчик: это мой наследник. Познакомь его с твоим внучком, – пусть они побалуют, позабавятся вместе. Ведь он у

меня ученый: по-французскому уж болтает, по-аглицки учится. Я не жалею денег на его воспитание, – хочу, чтобы он все науки прошел; хочу потом послать его в Англию, во Францию – пусть все видит, пусть научится на месте, как там у них коммерция идет. Конечно, коли так говорить, вот я и простой мужик с бородой, а веду и заграничные дела и нажил, благодаря бога, порядочный капиталец. Коли здесь есть (старик ткнул себя пальцем в лоб), так оно, пожалуй, что и без науки обойдтись можно. Ну, господь, вестимо, не лишил меня здравого смысла, оттого я теперь, даром что мужик, а сижу с тобой – генералом и разговариваю, будто ни в чем не бывало, как равный.

Дедушка мой улыбнулся и перебил:

– Что об этом говорить, Прохор Кононыч, у тебя в мизинце больше ума, чем у иного генерала в голове.

Прохор Кононыч улыбнулся на эту любезность светло, открыто и самодовольно и заметил:

– Ну это, ваше превосходительство, все от бога: не дал бы он ума, был бы дураком... Но я,

вишь, речь-то к тому веду, что ум хорошая вещь, ни слова, но без ученья – то иногда все как будто чувствуешь, что чего-то не хватает; это я по опыту знаю. Вот что.

Старик серьезно покачал головою.

– Что ни болтает там наш брат, – а без ученья – все не то. Это уж я тебе говорю – поверь так.

И при этом Прохор Кононыч утвердительно ударил ладонью по столу.

– Оттого я и хочу, чтобы мальчуган мой науку выучил. Ты не думай, чтобы я прочил его в дворяне, чтобы то есть эдакое у меня помышление было втайне. Оборони господи от этого! Он должен оставаться в своем, в торговом сословии! нам в чужие сани не след лезть, а для коммерции-то наука, еще, чай, важней, чем для дворянства. Правду ли я говорю, ваше превосходительство?

– Разумеется, Прохор Кононыч, – возразил дедушка, – недаром и пословица: ученье свет, неученье тьма. Ученье для всех классов необходимо.

– Только дай бог, чтобы ученье-то ему впрок пошло! – произнес в раздумье Прохор

Кононыч, глядя на внука и качая головою. – Вот тебе Христос, – и при этом он перекрестился, – полсостояния бы отдал, только бы из него порядочный, дельный человек вышел, – я его крепко люблю. Ведь он у меня один, сына-то моего, отца-то его, бог взял, – ну, что ж делать? Его святая воля, а дочери – что! Дочерей я не считаю. Они отрезанные ломти...

Потом Прохор Кононыч обратился ко мне и посмотрел на меня.

– А сколько твоему внучку-то годков, – спросил он дедушку, – не однолетки ли они с моим-то?

– Моему двенадцать скоро будет, – отвечал дедушка.

– Вот как! так он еще, значит, тремя годками старше моего, а мой-то на глаз, пожалуй, еще постарше покажется: вишь, он у меня какой плотный, солидный... А как зовут твоего-то?

– Иваном.

– Ну, Ванюшка, поди, душенька, поиграй с моим Васей, познакомьтесь, познакомьтесь.

И при этом Прохор Кононыч положил свою толстую, жилистую руку с плоскими

пальцами на мою голову.

Ласка эта мне не совсем понравилась, и я сделал было движение, чтобы высвободиться из-под его руки.

Дедушка украдкой и слегка покачал мне головою, немного нахмурив брови, и я остался на месте.

– Поди, друг мой, в детскую, – сказал мне дедушка, – и возьми с собой гостя: покажи ему свои игрушки, займи его, – а мы покуда поговорим об делах.

Я не смел послушаться дедушки, я очень любил его и боялся огорчить его – и потому тотчас взял за руку купеческого внука и повел его в свою комнату, хотя мне было несколько досадно на дедушку за то, что он приказывал мне занимать этого мальчика и назвал его моим гостем. Мне – дворянину и генеральскому внуку казалось унижительным занимать внука бородача и обращаться с ним как с равным. «Что же такое, что его дедушка богат? – думал я, – ведь он все-таки из мужиков».

Однако из угождения моему дедушке я старался пересилить себя. Сначала я все еще вел

себя несколько свысока, немножко важничал, но детская прямая, чистая и откровенная природа взяла сейчас верх над смешными предрассудками, бессознательно заимствованными у взрослых. Через пять минут я совершенно и без всяких усилий над собою забыл неравенство сословий между мною и Васей. Я разыгрался с ним, как с равным; он было начинал уже мне нравиться. Я выставил перед ним все мои богатства: складные картинки, оловянных солдат, кузницу с кузнецами, поднимавшими и опускавшими молоты – игрушку, которою я особенно хвастал перед всеми приезжавшими к нам детьми, – Робинзон Крузе с картинками и прочее.

Но Вася очень равнодушно, к моему огорчению, смотрел на все это.

– Это дрянные игрушки, – сказал он, – приезжайте к нам, я вам покажу свои: у меня хорошие, дорогие игрушки, дедушка ничего не жалеет для меня. Он недавно мне подарил игрушку, заплатил сто рублей, большая такая: дом с башнями и с садом, в саду маленькие кареты ездят и люди ходят, а в домике – диваны, кресла, а на кухне повара кушанье гото-

вят. На ваши игрушки и смотреть не стоит.

Вася оскорбил мое самолюбие. Я надулся и снова принял важный вид.

– А что, у вас есть карета? – спросил меня Вася.

– Еще бы! у нас не одна, а две кареты – одна двухместная, а другая четвероместная, – у нас есть и коляска, и дрожки, и сани. Ведь мой дедушка генерал! Он ездит четверней с форейтором, а ваш дедушка так ездить не может, потому что четверней ездят только генералы, – прибавил я с торжеством.

– А у вас нет рысаков? – сказал Вася.

– Каких рысаков? Что это за рысаки?

Я в первый раз слышал это слово.

– Рысаки шибко бегут, всех обгоняют, мой дедушка и вашего дедушку обгонит. Да у вас и комнаты нехорошие, а у нас большие-большие, и часы с золотыми мальчиками, и золотые подсвечники, все золотое, и цветы на всех окнах, к нам генералы со звездами и с лентами ездят обедать, а у вашего дедушки нет ленты.

– Нет, есть, – отвечал я, раздражаемый все более и более, – у него красная лента через

плечо, и звезды, и много-много крестов!..

– А отчего же он не сидит в ленте?

– Дома не надевают ни крестов, ни лент, – отвечал я, – кресты и ленты надевают только в гости.

– А мой дедушка и дома крест носит, видите ли?.. Дедушка мой богатый-богатый, у вашего дедушки нет столько денег. У моего дедушки миллион есть, еще больше, у нас не четверня, а пятнадцать лошадей на конюшне стоит; мой дедушка на всех может ездить. Это будет все мое. Мамаша говорит, что я буду больше, чем дворянин.

Моя дворянская кровь бросилась мне в голову при этом слове. Я вспыхнул.

– Ваша мамаша неправду говорит, – отвечал я с достоинством, – дедушка мой генерал, и я буду генерал (увы! мечты моего детства не сбылись!), а вы не будете генералом. Вы будете с бородой ходить, как ваш дедушка.

Вася обиделся.

– Не хочу я с бородой ходить, – произнес он почти сквозь слезы, – мамаша мне сказала, что я не буду с бородой ходить.

Я был доволен, что уязвил Васю. Чтобы

дать сильнее почувствовать ему, какая разница между дворянином и купцом, я заговорил с ним по-французски, полагая, что на французском языке могут говорить только одни дворяне.

Вася произнес также несколько слов по-французски, хотя, к моему удовольствию, с трудом и дурным выговором.

– А вот вы и не умеете хорошенько говорить по-французски, – заметил я.

– Умею! – закричал Вася таким голосом, как будто собирался сейчас заплакать.

– Ну, если умеете, так скажите, как по-французски называется печка?

Вася задумался.

Очень довольный собою, я принял роль экзаменатора.

Вася отвечал на мои вопросы не совсем удовлетворительно и наконец заплакал.

Мы расстались явно недовольными друг другом.

Когда я после отъезда купца передал мой разговор с Васей дедушке и с насмешкою прибавил: «Он сказал мне, будто бы он будет выше дворянина...» – дедушка с неудовольстви-

ем покачал головою.

Я тотчас заметил неприятное впечатление, произведенное на дедушку моим рассказом, хоть не сознавал почему.

– Ведь он сказал это по глупости, дедушка? Как же он может быть выше дворянина? Я ему отвечал; что дворянин может четверней ездить, а он не может... Ведь правда, дедушка? – спросил я уже с некоторою робостью, посмотрев на дедушку с недоумением.

– Кто тебе набивает голову такими пустяками? – отвечал он. – Одним дворянством, мой друг, гордиться нечего, да и вообще гордиться чем бы то ни было и важничать перед кем бы то ни было – нехорошо, и не все ли равно ездить, на четверне или на паре? Купец может быть поумнее иного дворянина, если купец человек честный, если он говорит всегда правду, ведет свои дела аккуратно... Человека украшают его дела, его поступки, а не звания и титулы. И купец также служит отечеству, как и дворянин... Вот, например, дедушка этого мальчика, купец, который у меня сейчас был, он человек честный, благородный, умный, весьма уважаемый, и не за то

только, что он богат, а за то, что он честен. Его одному слову верят более, чем клятвам и подписям иных значительных лиц. Если внучек пойдет по его следам, то его будут так же уважать, как старика. Ты заметь однажды навсегда, что уважение приобретается трудолюбием, честностью, прямою, а не званием, потому, что благородное звание или громкий титул без внутреннего благородства одно пустое слово! Гордятся бессмысленно своим происхождением только пустые, глупые и ничтожные люди. Прочти-ка, дружок, басню Крылова «Гуси», ты это лучше поймешь...

Через несколько дней после этого дедушка повез меня к Прохору Кононычу.

– Вот, – сказал он, входя к старику, – и я к вам с моим внуком. Он приехал сделать визит вашему внуку...

Вася не солгал. Квартира Прохора Кононыча была несравненно лучше и больше нашей квартиры и украшена несравненно богаче. Меня в особенности поразила огромная зала с хорами и двумя большими люстрами, с потолком, расписанным амурами, в которой Прохор Кононыч, как я узнал впоследствии,

задавал банкеты различным знатным и сановным особам. Прохор Кононыч был не лишен тщеславия и любил видеть у себя в гостях ордена и звезды. Некоторые ордена и звезды, говорят, пользовались даже слабостью доброго Прохора Кононыча, часто сами напрашивались к нему на обеды и объедались и упивались у него вдоволь, вознаграждая хозяина, или, вернее сказать, его зрение — блеском своих шейных и особенно грудных украшений. Комната Васи была завалена невиданными мною игрушками. Как я ни усиливался казаться равнодушным, но при виде домов, башен, садов с движущимися людьми и экипажами, и при звуках маленькой ручной шарманки я едва удержался, чтобы не ахнуть. Все это грудами было навалено в комнате и покрыто слоем пыли. В комнате Васи, когда я вошел в нее, был гувернер его, француз-щеголь, няня с сморщенным лицом и двуличным платком на голове, девка, обутая на босую ногу, и грязный мальчишка, обстриженный в кружок. Вася мало обращал на меня внимания, он более занимался собачонкой испанской породы, к хвосту которой он при-

вязал шнурок и дергал ее за этот шнурок. Собачонка визжала, Вася кричал на мальчишку, гувернер кричал на Васю, который его не слушал, няня кричала на босоногую девку. Я совсем растерялся в этом хаосе... Через минуту Вася выпустил несчастную собачонку, схватил большую куклу, представлявшую улана, и показал ее мне.

– Какова кукла? – спросил он у меня.

– Славная, – отвечал я.

– А хотите, я ей сейчас голову сломя? мне дедушка другую купит.

И с этими словами шея куклы затрещала, и голова с кивером покатила на пол...

Вскоре за этим дедушка прислал за мною, и мы уехали.

Более меня не возили к Васе, Вася не приезжал ко мне, и я забыл о его существовании...

Лет через тринадцать после этого я обедал в одном из самых известных петербургских ресторанов с моим товарищем по школе, с добродушнейшим и милейшим из людей, который без разбора был знаком со всею петербургскою молодежью, всем радушно жал руки, всем говорил ты и пользовался величайшею популярностью в столице. Он был одним из неизбежных лиц на всех гуляньях, во всех театрах, маскарадах, танцклассах, везде, где проявляется публичная жизнь, и тотчас со всеми попадавшимися ему лицами заводил знакомства, не разбирая сословий и одинаково обращаясь с богатыми и бедными, с высшими и с низшими, с умными и с тупоумными. Он не имел и тени тщеславия, которым почти все мы заражены более или менее, и потому с ним всегда было легко; он сыпал остротами и каламбурами, знал все петербургские анекдоты, говорил без умолку, был постоянно в веселом расположении духа и умел смеяться не только над другими, что очень легко, но даже над самим собою, что

очень трудно. Я не встречал в моей жизни человека, который имел бы такое разнообразное и обширное знакомство, какое имел он. Однажды, в маскараде дворянского собрания, он завел меня в какой-то таинственный уголок покурить. (Он знал везде все уголки и закоулки и по именам лакеев во всех ресторанах и капельдинеров во всех театрах.) В этом уголке мы нашли господина в пестром галстуке и в изношенном фраке с блестящими пуговицами, наружности весьма неблаговидной и притом полупьяного. Господин этот при виде моего товарища с увлечением бросился к нему на шею, поцеловал его и воскликнул:

– Ах, Саша, Саша! как я, братец, рад тебя видеть, то есть не поверишь, как рад.

– Давно не видались... Ну что ты поделываешь? – возразил мой товарищ улыбаясь.

– Живу, душа моя, живу! Известно, что —

*Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!*

И господин махнул при этом рукой, посмотрел на меня, пошевелил губами, облизал их и прибавил, ударив моего товарища по

плечу:

– Пойдем, братец, выпьем.

Товарищ мой отказался, мы докурили папироски и вышли из угла.

– Откуда, наконец, у тебя такие знакомства, скажи бога ради? – спросил я у него.

Он захохотал.

– А что, ведь недурный экземплярчик?.. это мой друг. Я сошелся с ним на одном презабавном вечере у актера Кронидова. Я ему почему-то понравился, он и предложил мне выпить с ним на «ты». Зачем же мне было оскорблять его? я согласился. Что за беда, что прибавилось одно лишнее «ты»? К тому же он юморист, не шутя. На этом вечере черт знает что происходило и какие рылы были... Уж мне стало страшно, ты можешь себе представить, что такое там было. Я потихоньку уехал, потому что уж начиналось что-то – вроде драки между хозяином и гостем. На другой день в кафе я встречаю этого господина.

– Ну что, – спрашиваю я у него, – ты долго вчера там оставался?

– Да почти что до рассвета, – отвечал он, – после тебя там случилась маленькая неприят-

НОСТЬ.

– Что такое?

– Одному из гостей рот разодрали. Вышло между ним и другим гостем какое-то неудовольствие, уж из-за чего, не умею сказать... так, недоразумение.

– Ты не смотри на то, – прибавил мне мой товарищ в заключение, – что у него не совсем презентабельная физиономия. Он большой забавник... когда не пьян; жаль только, что он никогда не бывает трезв.

У моего товарища была, между прочим, страсть заводить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять этими кружками. Раз он составил театральный кружок; в другой раз, когда театральство прискучило ему, он составил что-то вроде попечительного комитета о какой-то барышне, которая, бог знает почему-то, ему вдруг понравилась, и он вербовал молодежь в этот комитет, как на дело серьезное... Деятельности-то хочется, а настоящего дела, которому бы легко и весело было отдаться, у нас нет, так поневоле даже самые лучшие из нас развлекаются пустяками, остаются долго духовно малолетними и играют в

игрушки в такие годы, когда в других странах люди подвизаются уже с пользою на гражданском и общественном поприще. Оттого на всех наших лучших людях есть отпечаток, если вы взглянете в них близко, внутренней пустоты и легкомыслия, даже и в тех, которые почитают себя не без основания глубокомысленными. Товарищ мой, впрочем, не прикидывался ничем, он был во всякую данную минуту самим собою. Развлекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чем-нибудь занять себя, и отдаваясь им с увлечением, он не воображал, однако, что занимается делом, как многие... Другую такую благородную, открытую, прямую природу, какова была у моего приятеля, мне не удавалось встречать в жизни, несмотря на то, что я прожил полжизни. Многие из глубокомысленных легкомысленно называли его пустым, добрым малым, видя его постоянно веселым; они считали его неспособным к мысли и к делу; неспособным видеть себя и задумываться над самим собою; но они жестоко ошибались. На товарища моего нередко находили минуты тяжелого и грустного раздумья, когда че-

человек строго спрашивает у самого себя: сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы носить имя человека не как пустое и незаслуженное титуло, а по сознанию и праву? И он усиливался бороться с самим собою и с средою, тяготившею его; но эту борьбу видели только самые близкие к нему по сердцу и по убеждениям. Все слабости и недостатки этого человека прилеплялись к нему от этой среды; все прекрасное, благородное и светлое выходило из его чистой и прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думал, что из него мог выйти дельный и серьезный человек, если бы он родился в другой, более широкой среде, в другом, более серьезном обществе...

Увлечшись моими воспоминаниями, – а товарищ мой принадлежит к лучшим моим воспоминаниям, – я, может быть, вдаюсь в излишние подробности, ненужные для этого рассказа. Впрочем, что за беда? Листок из воспоминаний – не художественное произведение. Я пишу, как пишется, не имея ни малейшей претензии на художественность, на чистое искусство, на творчество и тому подобное.

Говоря откровенно, я даже не совсем понимаю, из чего так хлопочут защитники чистого искусства и художественности? Сколько бы они ни заботились об нас, по доброте души своей, они из нас, простых писателей, не сделают художников, и как бы мы сами ни желали угодить им, как бы мы ни усиливались превратиться в творцов, все наши усилия останутся не только тщетными, но и смешными...

Мы с товарищем начали наш обед вдвоем, но скоро к нам присоединились еще два наши приятеля, или, вернее, приятели моего товарища: полный, высокого роста адъютант, говоривший густым басом, страстный любитель цыган, лошадиный барышник, выпивавший баснословное количество вина, и молодецкий кавалерийский офицер, с маленькими усиками и с несколько изысканными манерами, военный фат. Товарищ мой, как магнит, привлекает к себе; все так и льнули к нему, зная, что где он, там всегда весело. Своим добродушием и симпатичностью он смягчал самых гордых и недоступных господ и заставлял смеяться людей, которые никогда не

улыбаются. Обед наш был по милости его очень жив и весел. Из отдельной комнаты, рядом с нами, к концу нашего обеда послышались веселые восклицания, крики и, наконец, женский голос, напевавший всем очень хорошо известные французские куплеты, которые обыкновенно поются, когда общество доходит до известной степени веселости.

– Мишка! кто тут в комнате рядом с нами? – спросил адъютант у служившего нам молодого татарина.

– Заказной обед, ваше сиятельство, – отвечал татарин.

– Тебя, дурак, не спрашивают, какой обед, а кто обедает? – возразил адъютант.

Татарин улыбнулся.

– Господин Пивоваров с приятелями, – сказал он после минуты нерешительности.

– И с приятельницами, – прибавил адъютант.

– Это, наверно, Луиза, это ее голос, – сказал изнеженный офицер, поводя рукой по своим усикам.

– Что это за Луиза? – спросил грубо адъютант, искоса взглянув на изнеженного офи-

цера.

– Как будто вы не знаете? – отвечал он по-французски, – та, которая жила с Границы-НЫМ.

– Я, батюшка, с вашими француженками знакомства не веду. Черт бы их побрал! Этой сволочи здесь много... А этот Пивоваров, кажется, уж начинает покучивать на будущие блага, на капиталы бородача – своего дедушки!

«Э! – подумал я, – да это должен быть мой старый знакомый Вася».

– Терпеть не могу, – продолжал адъютант, – этих купчиков-франтов... Саша, ты знаком с ними? Ведь ты со всем миром знаком?.. а?

Адъютант обратился к моему товарищу.

– Это мой друг, – отвечал он улыбаясь.

– Ну уж коли твой друг, так должен быть хорош. Знаю я твоих друзей-то! У него, я вам скажу, такие друзья, – продолжал адъютант, обращаясь ко мне, – с которыми ночью не дай бог встретиться. А майор Астафьев что?

– Что же, – ничего. Он не друг мой, а только protege.

– Хорош протеже! Из кабака не выходит!.. Полно скрываться-то, признайся, ведь вы ку-тите вместе.

И адъютант при этой шутке любезно улыбнулся.

– Ты не смейся над майором Астафьевым, – возразил мой товарищ, – это милейший и забавнейший из людей; в свое цветущее время он был седюктёром и франтом, у него еще и теперь остались следы этого; несмотря на то, что у него вся физиономия отекла и налилась, он все еще иногда завивает виски и фабриит усы; манеры у него до сих пор, когда он не очень пьян, самые галантерейные, он беспрестанно отпускает французские фразы: эксклюзе пур деранже или вроде этого, носит фуражку набекрень и выставляет локти вперед, словом, он мил необыкновенно. Ты бы посмотрел, как он расшаркивается перед дамами!..

– И он этому пьянчужке, за то что он дамам хорошо раскланивается, пенсию выхлопотал! – перебил адъютант, посмотрев на нас.

– Что ж такое? Я и тебе выхлопочу пенсию, когда ты сопьешься, – возразил мой товарищ.

Адъютант захохотал, ударил его по плечу

и воскликнул: «Ах ты, Сашка!» – вероятно, за неимением более остроумного восклицания.

– А знаете, – сказал изнеженный офицер, прищуривая глазки, – у этого господина, который возле нас обедает... как вы его зовете?..

Офицер остановился, как будто вспоминая фамилию. Адъютант сурово посмотрел на него и сказал:

– Пивоваров... К чему перед нами тону-то задавать: ведь вы очень хорошо помните его фамилию.

Изнеженный офицер несколько смутился.

– Pardon, я, право... – отвечал он, запинаясь, – в самом деле я забыл его фамилию... да... так у него... вы видели, серый рысак, чудо! первый в городе!

– Точно, что лошадь добрая, – возразил адъютант, – я его по этой лошади-то и знаю. Да что, он охотник, что ли, до лошадей? Ты, Саша, должен это знать в качестве его друга.

– Какое – охотник! Он, кажется, столько же толку знает в лошадях, сколько я...

– Ну, это немного, – перебил адъютант.

– Ему сказали, что первый рысак в городе продается, – продолжал мой товарищ, – так он

сейчас и купил его для того, чтобы весь город кричал, что у него первый рысак и чтобы прохожие по Невскому разевали рты от удивления, когда он летает на нем сломя голову, а кучер его как безумный кричит во все горло. «Пади! пади!» Все это, батюшка, делается из тщеславия. Какая-нибудь Луиза сделает ему или его рысаку глазки – он на целый день и счастлив. Ему хочется во что бы то ни стало, чтобы его замечали и чтобы об нем говорили. Хоть он мой друг, но я должен по справедливости заметить, что из него большого толку не выйдет. Из него вырабатывается настоящий тип и в огромном размере, – потому что он наследует миллионы, – этих кутил-купчиков, которых развелось у нас так много. Они все воображают, что их деды и отцы наживали и скопляли капиталы для того только, чтобы они их глупо проматывали, и что они умнее и образованнее своих отцов и дедов, потому что одеты по последней парижской картинке.

– Ты меня, братец, познакомь с ним, – перебил адъютант, – не продаст ли он эту лошадь? Я бы у него, пожалуй, купил ее, или, пожалуй,

мы променялись бы; я бы дал ему славного рысака, не хуже его... так же бы разевали рты, когда бы он на нем прокатывался по Невскому... А что, он любит выпить?

– Пьет сильно и также из хвастовства.

– Ну, это хорошо, – заметил адъютант, – пошли-ка за ним Мишку... пусть он его вызовет оттуда на минутку от твоего имени, а как он придет сюда, ты его познакомь со мною.

– Пожалуй.

Мишка был послан за Пивоваровым.

Господин Пивоваров не заставлял себя долго ждать.

Я не без любопытства посмотрел на него, когда он вошел в нашу комнату. Ни одной черты от детства не осталось у него. Он был худощав и бледен, все лицо его было в угрях, глаза, которые были голубыми в детстве, побледнели и превратились почти в серые, они были выпуклыми и имели мало выражения; белокурые его волосы были завиты и тщательно расчесаны, точно как будто сейчас выскочил из парикмахерской; одет он был франтовски, но без вкуса: в бархатном клетчатом пестром жилете и в пестром галстуке, на од-

ном из его пальцев было колечко с большим брильянтом; он казался очень занятым своею особою и как будто постоянно думал о том, какое впечатление он производит на зрителей: понравился ли им его жилет? обратили ли они внимание на его брильянт?.. нашли ли хорошими его манеры? и прочее. От этого он был не совсем ловок и как-то стеснен в своих движениях.

– Я узнал, что ты здесь, и хотел тебя видеть хоть на минутку, – сказал мой товарищ, – извини, что я тебя вызвал.

– Помилуй... ничего... я очень рад, – отвечал внук миллионера, охорашиваясь и поглядывая на нас.

– Хочешь шампанского?

Товарищ мой налил бокал и поднес ему.

– Мерси... – Внук миллионера взял бокал и прибавил: – я, впрочем, уж так много пил! Мы здесь обедаем вчетвером и уж выпили бутылок восемь.

– Ничего, это не вредно! – заметил адъютант.

– Ах, кстати, – сказал мой товарищ, указывая на адъютанта, – вот князь Ртищев. Он же-

дает с тобою познакомиться... – Пивоваров, – прибавил он, указывая на внука миллионера.

Адъютант протянул ему свою широкую руку. При имени князя лицо внука миллионера вдруг просветлело.

Он произнес не без волнения: «Очень рад, очень рад!» – и поспешил вложить свою руку с брильянтом в руку адъютанта с ощущением наслаждения, которое выразилось во всей его фигуре и бросилось бы в глаза даже и не наблюдательному человеку.

– Посидите-ко с нами, – сказал адъютант, слегка придвинув к себе стул и указав на него внуку миллионера.

Он сел.

– Бутылку редерера и чистый стакан! – крикнул адъютант.

Он налил полный стакан ему и себе и сказал:

– Ну, чокнемтесь.

Внук миллионера взял стакан, чокнулся с адъютантом, отпил немного и поставил стакан на стол.

– Это что! – воскликнул адъютант, – со мной эдак не пьют, батюшка, нет! этого я не

люблю.

Внук миллионера начал извиняться и отговариваться восьмью бутылками, выпитыми вчетвером.

– Мне до ваших восьми бутылок никакого дела нет. Я предлагаю вам выпить со мной.

Внук миллионера выпил стакан.

Через десять минут в бутылке не осталось ни капли, хотя ни я, ни товарищ мой, ни изнеженный офицер не пили. Глаза у внука миллионера совсем посоловели, он уж совершенно дружески разговаривал с адъютантом и, кажется, даже выпил с ним на ты. Адъютант ловко завел с ним речь о лошадях. Внук миллионера начал хвастать своим рысаком, адъютант возражал, что действительно это лошадь хорошая, но вовсе не из первых в городе; что у него есть гнедой рысак, который не хуже, если не лучше, и в заключение пригласил к себе внука миллионера на другой день посмотреть его.

Внук миллионера вышел от нас, кажется, совершенно счастливый мыслию, что известность его растет с каждым днем и что им даже начинают интересоваться князья, и совер-

шенно пьяный, потому что он даже спотыкался и пошатывался.

Через два дня после этого я и товарищ мой встретили на улице адъютанта.

– А знаете ли, господа, что пивоваровский-то серый рысак уж мой. Я применялся, отдал ему своего гнедого да еще придачи взял. Этот франт просто ничего не смыслит в лошадях, а туда же прикидывается знатоком, хвастает и порет такую дичь, что уши вянут. Он глуповат немножко, а малый добрый!..

После этого я несколько раз встречал внука миллионера в ресторанах, на улицах, на гуляньях; моему товарищу вздумалось раз как-то при удобном случае представить нас друг другу, но я не считал нужным воспользоваться его любезным приглашением. Наше знакомство ограничивалось только поклонами и иногда несколькими словами при встречах. Товарищ мой также был у него всего раза два или три, не больше, но мы знали все подробности его жизни, все его приключения, как коротко знакомые. Вот каким образом: к моему товарищу заживал очень часто некто Иван Петрович Подшивкин. Этот Иван Петрович, — человек лет сорока, маленького роста, с беглыми, небольшими, двусмысленными глазками и с вечно угодливой и заискивающей улыбкой на губах, был сын обанкротившегося богатого купца; Прохор Кононыч похоронил его отца на свой счет, потому что у покойника не оказалось ни полушки, дал у себя в доме комнатку его вдове и определил ее сына, которому было уже лет двадцать

пять, к себе в контору. Но сын этот оказался к делам совсем неспособным и из рук вон ленивым: он даже в контору никогда и не показывался. Прохор Кононыч знал все это, но он махнул рукой, произнес: «Ну, бог с ним», – и велел продолжать выдавать ему жалованье. Таким образом Иван Петрович прожил пятнадцать лет у Прохора Кононыча, получая небольшое жалованье по его милости и снисходительности. Он всякий день шлялся по гостиным, потому что сохранил связи со всем петербургским богатым купечеством, ел, пил, веселился на чужой счет и отплачивал за это шуточками, прибауточками и балагурством, смешанным с низкопоклонством. На всех купеческих именинах, свадьбах, крестинах, похоронах, рожденьях, банкетах он был непременно лицом; он забавлял бородатых миллионеров разными паясническими выходками; переносил сплетни их женам; был на посылках у их дочерей; пил с их сынками и оказывал им различные услуги, особенно по части прекрасного пола, и умел везде поставить себя хотя невидным, но необходимым лицом. Таким образом, Иван Петрович жил припева-

ючи, получая от всех подачки чем ни попало: деньгами и вещами.

Где и каким образом познакомился с ним мой товарищ, я не знаю, только он удостоивал его своего расположения, потому что считал его забавным, хотя я, признаться, ничего не находил в нем забавного. Иван Петрович рассказывал обыкновенно моему товарищу различные анекдоты из купеческого быта, с ужимками и прибаутками, а товарищ мой слушал его, лежа на диване с сигарой, и хохотал от всей души. Вася Пивоваров был главным его героем. Он благоговел перед ним.

– Ну что, Иван Петрович, скажите, – бывало, спрашивал его мой товарищ, – занимается ли ваш Вася хоть сколько-нибудь коммерческими делами? понимает ли он в них хоть что-нибудь?

– Помилуйте, – отвечал Иван Петрович, – зачем же нам этим заниматься-с? Мы рождены, собственно, для того, чтобы по Невскому на рысачках кататься! Впрочем, это я только так, для рифмы соврал, а мы все знаем, всем занимаемся-с, кассирские должности исполняем и дедушке в глаза пыль пускаем. Ста-

рик-то нам немножко мешает, а то бы мы такого форсу задали, что...

Иван Петрович сжал губы и свистнул.

– Что ж, впрочем – и теперь об нас все говорят – куда ни обернешься, только и слышишь: какой рысак у Василья Прохорыча! Какая коляска!.. какая мебель!.. – и точно что... (он взглянул на меня и указал на моего товарища) вот они видели нашу мебель: пате, консольки, козеточки, эдакие, натошак и не выговоришь такие названия; ковры, шелки, бронзы – есть от чего ахнуть. А вина-то какие, – а метресочки-то! Господи, боже мой! Я прошедший раз гляжу на Луизу Карловну... она эдак лежит на диване, как султанша какая, да ножкой болтает, – просто чудо! – «Позвольте, я говорю, Луиза Карловна, мне, недостойному рабу, хоть к башмачку-то вашему или к чулочку моими грешными губами прикоснуться...» А она, знаете, спрашивает по-французски: что, говорит, он врет? – а сама смотрит на меня, улыбается, да еще пальчиком грозит, – такая, ей-богу! то есть, кажется, прилег бы к ее ножке щекой, замер и испустил бы тут же дыхание, и в голову бы не при-

шло, что другие женщины существуют на свете, а мы – нет-с, как можно! Нам одного цветочка мало; мы, как пчелы, с цветка на цветок перелетаем, никаким не пренебрегаем, и на чертополох садимся, отовсюду медок высасываем, а из нас денежки высасывают... Да что! нам деньги нипочем! У нас деньги, как щепки. Хоть у нас-то их и не слишком много – с, да ведь мы наследники, а у дедушки-то у нашего подвалы чистым золотом завалены... Нам не то, что другим-с; в случае нужды деньги достать все равно, что стакан воды выпить. Отовсюду сбегутся благоприятели... сейчас сколько угодно достанут, благодетели, пятьдесят на сто; деньги нам дают да еще нам же в пояс кланяются. Экая жизнь-то подумаешь – блаженство! Намедни утром лежит на диване в турецком халате, халат-то из тысячной шали скроен, шелковые шаровары, – потягивается, позевывает да лениво покуривает. Головка-то в тумане еще... всю ночь напролет прожуировал, а я смотрю на него да улыбаюсь.

– Чего, говорит, ты смеешься?..

– На вас, говорю, Василий Прохорыч, раду-

юсь. В сорочке, я говорю, вы родились.

– В самом деле?.. – и сам улыбается... – а что, говорит, я думаю, точно, многие мне завидуют?

– Да как же не завидовать-то! Кому же завидовать, как не вам?

– Это, говорит, все вздор; теперь мне завидовать еще нечему, а вот как я буду сам себе господин, так уж тогда я покажу себя; весь Петербург, говорит, ахнуть заставлю. Вот ты увидишь!

И точно: вы посмотрите, как мы тогда заживем. Уж никто так, как Василий Прохорыч, не сумеет пыль пустить в глаза: умница-то ведь какой! ловкий, молодец!.. Посмотрите, как в театр войдет, или в коляску сядет – подумаешь, что князь какой. Я из нашего-тословия почитай что всех богачей знаю, из молодых-то, да нет-с, куда им! далеко до нашего Василья Прохорыча! тех же щей, да пожиже влей. Супротив него у нас никого нет. Вот кричат про Мыльникову, сына Петра Касьяныча – да ничего в нем особенного нет и по-французски не говорит, даром что французенку содержит, пантомимой с ней объясня-

ется, как в балете, ей-богу, смех смотреть... Она ему просто вот какие, оленьи рожищи подставляет и смеется еще над ним, а он ничего не понимает, напьется, глаза, знаете, эдак посоловеют, станет перед ней на колени, мычит что-то и сердится, что она его не понимает, бьет себя в грудь, плачет... Куда ему против нашего! Я его часто вижу вместе с Васильем Прохорычем. Говорить ли о чем начнут – уж наш непременно его забьет, пить ли – ваш перепьет, на рысаках ли перегоняться вздумают – наш обгонит. А вот теперича он съездит за границу-то, да вернется назад. Форсу-то там еще более понаберется, тогда и не подходи к нему; пожалуй, Что еще и на княжне какой – nibудь женится. Англичанин будет настоящий. Ведь правду я говорю, Александр Григорьич?..

– Правду, правду, – отвечал, смеясь, мой товарищ, – ну, а скажите, Иван Петрович, дедушку-то своего он любит?

– Господи боже! да как же такого золотого дедушку не любить. Да и дедушка-то в нас души не слышит, только старики-то ведь ворчуньи, ну и наш ворчит, что мало делом занима-

емся. Он умница, даром что с бородой и сапоги сверх панталон носит, но бедовый старик!.. у него все по струнке ходят, пискнуть перед ним никто не смеет, а уж к внучку слаб, больно его любит, потому что он у него один наследник, сквозь пальцы смотрит на него, да еще старик-то, признаться, и мало знает наши проделки... Если б он все узнал, просто, как ни любит, а беда бы была... А что, на прощальном-то обеде вы у нас будете, батюшка Александр Григорьич? Через месяц уж Василий Прохорыч непременно уедут за границу. Теперь начинаем приготовляться к отъезду. Приезжайте, приезжайте: обед будет на славу, пожалуй, и птичьего молока для вас доставим, это нам нипочем... А скучно будет без Василья Прохорыча!

Иван Петрович вздохнул.

Через месяц, на другой день после этого прощального обеда он прибежал к моему товарищу в ту минуту, когда я только что вошел к нему. Иван Петрович был в восторженном настроении.

— Ах, боже мой! Александр Григорьич, скажите, как это вам не грешно, вчера-то вы у

нас не были! Как же это можно! – восклицал он, с сверкающими глазами и размахивая руками...

– Что делать? не мог, я был не очень здоров.

– Да что не здоровы! как не могли, помилуйте! Ведь что было, то есть, этого и представить себе невозможно! Для такого банкета со смертного одра можно было встать, ей-богу... Вот я вам принес списочек блюд... вот извольте... прочтите... это на удивленье! А десерт-то какой!.. Клубника, земляника, малина в полпальца величины – теперь-то вы можете себе вообразить! Вин – это просто разлитое море... обедало всего человек двадцать, а выпито пять дюжин одного шампанского; после обеда пошли ликеры, заварили жженку с ана-насами... Я, знаете, в свою жизнь часто бывал на парадных, хороших банкетах, а уж ничего подобного не видал... Теперь воображению представится, так слюнки потекут. Право. Много было из знатных особ, – вот князь Ртищев... Уж как он всех распотешил нас. Эдакий молодчина! Наш-то насчет выпивки мало кому уступает, а уж против их сиятельства –

пас... Ну, да и то сказать, куда же с ними тягаться: в плечах косая сажень, рост какой, как заговорят, так своим голосом всех и покроют, пляшет как! – нечего сказать: настоящий князь! Взгляд эдакой, жест повелительный, орел, да и только, и не нужно говорить, что князь... Стоит посмотреть на него, сейчас догадаешься. После жженки как закричит: «К цыганам! слышите? Сейчас же все до единого!»

Я было хотел улизнуть да прикурнуть где-нибудь в уголку, потому что ноги-то у меня уж, знаете, подкашивались, а он ведь, подите, какой! сейчас заметил, да за шиворот меня.

– Куда? – говорит, – не смей отсюда выходить, все к цыганам!

Как он схватил меня, я, признаться, и испугался; эдакий силачина, ведь меня просто, как комара, придавить может.

– Помилуйте, я говорю, ваше сиятельство, куда прикажете, я, говорю, везде за счастье почту быть с вашим сиятельством.

А он, знаете, эдак посмотрел на меня с ног до головы, изволил улыбнуться и говорит:

– Ну, то-то же, смотри, никуда отсюда, все к

цыганам, и за другими смотри, чтобы никто не смел улизнуть. Ты мне за всех отвечаешь...

Такой шутник, право!

Вот мы таким манером и нагрянули к цыганам в Новую деревню... Уже первый час был. Все спят. Его сиятельство идет впереди всех предводителем, и кричит: «Эй, вы! вставайте, гости приехали!..» Сам изволил стащить с постели цыганочек-то, которые помоложе... Они кричат, пищат... «Ваше сиятельство, оставьте, мы сейчас...» Шали на себя, платки накидывают, а он-то хохочет... «Живо! говорит... Где, говорит, Матрена! подавайте мне Матрену!» Цыгане-то заспанные, знаете, из угла в угол мечутся, как угорелые, видно уж знают князя. «Сейчас, говорят, ваше сиятельство, все будет готово... не извольте беспокоиться». Начинают помаленьку собираться. Является Матрена... идет, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да как увидала князя... «А это ты, говорит, забулдыжная голова, спать-то нам не даешь!» Ей-богу, так-таки и говорит... А князь-то ей: «Ах ты, старая, говорит, ведьма, чего разоралась-то! Ну, обними меня и поцелуй». Та обняла его и давай це-

ловать; мы так все и покатались со смеху. – «Ну теперь, говорит, пошла, довольно», – и рукой ее эдак, знаете, взад... и потом обернулся к цыганам. «А вы, говорит, чего смотрите? Шампанского подавай!..» Господи! я думаю про себя, да что ж это? Уж, кажется, пили, пили, а теперь еще! что же это будет с нами! Князь-то шутить не любит... Вот-с началась попойка и песни... Маша заливалась, как соловей, весь хор пел на славу, Матрена просто выходила из себя; видно, что они все из кожи лезли, чтобы отличиться перед такими гостями: ведь наш-то и на них сажал деньги, они его знают, да и кто ж, правда, его не знает?.. Вдруг как князь-то вскочит, да как закричит: – «Ну веселую, плясовую – да живо! Матрена, пройдемся-ко», – и мигнул Матрене. А сам с себя сюртук долой и пошел, пошел: ногами семенит, плечами поводит, да потом вдруг вприсядку, гикает, кричит, размахивает руками, а пот-то с него так градом и льет.

– Ну, говорит, черт возьми, довольно с вас! Устал как собака, – и вытерся рукавом рубашки, – теперь, говорит, пойте что хотите, – и лег на диван. А там и пошла песня за песней, и

после каждой песни разливка, вино-то теплое, в душу не лезет, и смотреть-то на него гадко: вспенится и польется через на жестяной поднос, и поднос и стол-то грязный такой, и грязь кругом. А князь – ничего... Ну знаете, к концу-то он поосовел немножко, призамолк богатырь, сидит, обнявшись с Груней и покачивается, а все еще, как нальют бокалы, кричит «пей», но уж не таким твердым голосом – и сам пьет. Потом пошли эти величания... Маша сама обходила с подносом. Как дошло до нашего-то, как Маша остановилась перед ним, кланяясь и желая ему счастливого пути (уж они, шельмы, проведали, что он едет за границу), он кивнул мне головой...

– Ваня, говорит, – уж язык-то у него чуть ворочается, а я-то, знаете, уж пить тут не мог, возьму, знаете, бокальчик да в горшок с еранныю, благо князя-то нечего бояться было, ну так я был потрезвее, – Ваня, отыщи, говорит, у меня бумажник в кармане, вынь пятьсот рублей, положи на поднос.

Вынул, положил, так нет! не унялся – видите, еще мало показалось – вынимает из кармана лобанчики и кидает, а ведь они такие

жадные, ненасытные. Им сколько ни давай, все мало. Домой-то мы воротились часов в семь. Уж я сокровище-то наше всю дорогу держал на руках, он совсем ослабел, я берег его, как сосуд какой-нибудь хрустальный. Нельзя же: ведь он у нас избалованный, изнеженный такой.

Смотря на этого балагура и слушая его рассказ, я был убежден, что он выпустил из него некоторые подробности, касающиеся до себя, а именно, что часть денег, назначенных ненасытным цыганам, он, пользуясь удобным случаем, перевел в свой карман. По крайней мере он производил на меня своею особою такое впечатление. Я сообщил это замечание моему товарищу, но он по доброте сердца никак не соглашался с этим и уверял, что господин этот хотя и шут, но малый честный...

На пароходе, на котором отъезжал за границу внук миллионера, отправился, между прочим, один мой знакомый. Я провожал его до Кронштадта и был невольным свидетелем проводов внука миллионера. Его провожали наш знакомый – Иван Петрович; купеческий сын Мыльников – франт, кутила и лихач, яв-

но усиливавшийся во всем тянуться за Пивоваровым; толстый господин, очень важно державший себя, имевший тип биржевого маклера; еще другой господин с выверченными ногами, неопределенных лет от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, всем известное в Петербурге лицо – нечто вроде ублюдка от жида с обезьяной, говорящее на всевозможных языках и исправляющее всякие факторские обязанности, и, наконец, Луиза, вся обернутая в драгоценную турецкую шаль. Когда эта компания явилась вечером на пароход, готовый к отплытию, она была уже в очень оживленном расположении, не исключая и Луизы, и обратила на себя всеобщее внимание.

Жид-фактор, размахивая своими как будто вывихнутыми руками, кричал во все горло, дружески ударяя по плечу внука миллионера:

– Когда будешь в Париже, остановись, моншер, непременно в Hotel des princes, rue Richelieu, – самая лучшая отель... Слышишь, непременно там – и спроси Шарля, он комиссионер при отеле; скажи, что я тебе рекомендовал его – этого довольно, он будет распи-

наться для тебя. Это драгоценный человек: он Париж знает как свои пять пальцев... он покажет тебе все чудеса, диковинки и прелести... Вот ты увидишь, голубчик, как веселятся в местечке Париже, не по-нашему!.. Нет!.. Нам далеко!.. Завидно смотреть на тебя, полетел бы за тобою, посмотреть на моих старинных приятельниц – парижаночек!

И, говоря это, он с довольною улыбкою поглядывал кругом себя, выставя голову вперед и поводя носом, как бы обнюхивая.

Купеческий сынок Мыльников поправлял свои усики, тупо улыбался и говорил:

– Я тоже поеду на будущий год в Париж, непременно поеду!

Иван Петрович все терся около отъезжавшего внука миллионера; становился против него, льстиво смотря ему в глаза и повторяя: «Покидает нас наше сокровище, оставляет нас здесь сиротами!», заходил сзади и поправлял ему ремень от сумки, которая была у него надета сверх пальто; смотрел на него то с правого, то с левого бока, печально кивая головою; подходил к жиду-фактору, к Мыльникову, к биржевому маклеру и повторял со вздо-

хом: «Уезжает! уезжает!», обращался к Луизе и говорил, указывая на Пивоварова: – парте, адъё! и потом, умильно осклабясь на нее, прибавлял:

– Ах вы, кралечка!

Когда провожавшие должны были оставить отъезжавший пароход и я совсем протиснулся с моим знакомым, продираясь сквозь толпу к выходу, я опять наткнулся на группу, провожавшую внука миллионера.

В этот раз Луиза была в его объятиях и обливала его слезами.

– Merci! merci!.. Ne m'oubliez pas, mon cheri! – повторяла она ему.

Иван Петрович всхлипывал, глядя на них: даже жид-фактор подносил платок к глазам, до того картина эта была трогательна. Только купеческий сынок Мыльников и толстый биржевой маклер оставались довольно равнодушными.

Иван Петрович подошел ко мне на пароходе, на котором мы возвращались в Петербург.

– Умчался наш сокол за моря! – сказал он, – без него и жизнь не в жизнь будет, так при- вык к нему, ей-богу. Да человек-то какой, ду-

ши-то сколько!.. Как не любить его! Луиза Карловна-то, видели вы, просто убивалась, прощаясь с ним, навзрыд плакала бедняжка; у него у самого, глядя на нее, покатались слезы, жалко ему стало ее, вынул из сумки пятьсот рублей, – на, говорит, Луизенька, возьми на булавки... Тяжело, я вам скажу, будет ей без него! Не скоро забудет!..

В эту минуту начал накрапывать мелкий дождь, и мы вошли в каюту.

В одном углу каюты мы увидели Луизу, сидевшую между двумя гусарскими офицерами и хохотавшую во все горло... Один из офицеров держал ее за руку, называя неутешной вдовой.

– Посмотрите-ка, – сказал я Ивану Петровичу, указывая на эту группу.

Иван Петрович вытаращил глаза, с минуту смотрел на нее, потом печально покачал головой.

– Ах, она бесстыжая эдакая! – произнес он, – да и я-то дурак, в самом деле подумал, что она жалеет об нас. А ведь сколько мы в нее денег посадили! И еще с час назад тому пятьсот рублей бросили! За что же?.. стоила

ли она этого?.. Да чего, впрочем, ждать от них? в этих женщинах нет ни стыда, ни совести!

И Иван Петрович от негодования плюнул.

IV

Внук миллионера вернулся из-за границы через два года. О заграничных его похождениях мне узнать было не от кого. В Петербурге же, по рассказам Ивана Петровича и по другим слухам, он произвел в своем кругу, как и следовало ожидать, величайший шум. Там в течение нескольких месяцев только и говорили о вывезенных им вещах, платьях и каких-то неслыханных экипажах, с такими хитрыми названиями, которые у русского человека останавливались поперек горла... Внушек миллионера на некоторое время занял внимание даже всех классов петербургского празднующегося народонаселения. Об нем заговорили, да и нельзя же было не говорить, потому что он всякий день появлялся на публичную выставку в различных видах: он прокатывался утром по Невскому проспекту несколько раз взад и вперед, чтобы дать возможность во всех подробностях рассмотреть себя любознательной публике; то в каком-то английском экипаже, на английских лошадях, с английской закладкой, которыми

он сам правил, вооруженный длиннейшим бичом; то полулежа в легкой, как пух, коляске, привезенной из Вены и запряженной русскими рысаками, которых во весь ход пускал его толстый и бородатый кучер, обгоняя блестящие экипажи Шарлоты Федоровны, Арманс, Берты, Марьи Ивановны и вообще этих дам... В обеденное время его можно было видеть почти постоянно то у Сен-Жоржа, то у Леграна, а вечером или в цирке, или во Французском театре, или в опере, куда он являлся всегда не только во фраке, но даже в белом галстуке, как это делают те светские господа, которые обыкновенно прямо из театра отправляются на бал или раут. Внук миллионера на балы не ездил, а если и ездил, то на такие, на которых белый галстук был совершенно излишним украшением, но он предпочитал белый черному уже потому, что белый бросался в глаза. К тому же, как известно, белые галстуки в большом употреблении в Лондоне.

– Здесь просто жить не умеют, – говорил он своим приятелям с презрительной гримасой и пожимая плечами, – какая-то дикая страна!

Помилуйте, здесь в оперу ездят в сюртуках, на что же это похоже? В Лондоне в оперу всякий порядочный англичанин надевает непременно фрак и белый галстук! Это уж так принято у всех образованных людей...

– Да! уж что там ни говори, – рассуждал про него благоговейно купеческий сынок Мыльников со своими друзьями, – а уж за ним тягаться нелегко: шикар, черт его возьми! Настоящий европеец!

И, в подражание внуку миллионера, он также стал, появляться в оперу в белом галстук.

Только некоторые великосветские гвардейские офицеры и штатские *comme il faut* иронически поглядывали на нового европейца, отзывались об нем презрительно и называли его даже унижительным именем хама, в полном и гордом сознании, что та высочайшая *comme il faut* ность и та утонченная светскость, которую владеют они, не может быть доступна всякому, что она не покупается никакими миллионами, что это высочайший идеал, до которого достигают только немногие избранные и высокорожденные. Внучек

миллионера, хотя и замечал, как эти господа на него посматривают, но, по-видимому, мало огорчился этим. Ему, может быть, хотелось сначала попасть в их общество, но, убедившись, что это не так легко для него, как он думал, он успокоился... К тому же можно было смело предположить, не прибегая к помощи наблюдений и слухов, что он принадлежал к числу таких людей, которые не принимают тон, а задают тону и которые окружают себя людьми, над которыми они могут распоряжаться всевластно.

В это самое время, то есть через полгода, а может быть, и через год после возвращения Пивоварова из-за границы, весь Петербург заговорил об Шарлоте Федоровне... Я говорю весь, потому что каждый из нас, людей обеспеченных и более или менее праздных, привык считать тот маленький мирок, которым окружен он, с его интересами, понятиями и взглядами чуть не целым миром, воображая, что весь мир непременно живет теми же интересами, понятиями и взглядами. Очень легко может быть, что большая половина Петербурга и не подозревала о существовании Шар-

лоты Федоровны, но какое нам дело до этой большой половины? Об ней говорили мы, она занимала нас.

Она была очень известна давно, но, несмотря на ее красоту и молодость, на нее смотрели почти с пренебрежением, потому что эта красота была слишком легка и доступна и, как все такого рода красоты, имела не блестящую обстановку. А мы в таких случаях похожи на тех покупателей картин, которые обращают не столько внимания на достоинство самых картин, сколько на великолепные рамы. Когда случай вставил Шарлоту Федоровну в великолепную раму, – все обратились к ней, все заговорили об ней. Шарлота Федоровна окружила себя таким блеском и начала держать себя до того свысока, что издали и для людей неопытных она казалась совершенно недостижимой. У нее явилось множество великосветских поклонников, она сделалась вдруг минутною прихотью Петербурга, его модою, и внучек миллионера, разумеется, начал тотчас же в числе других всюду преследовать ее. Он появлялся на всех пикниках и маскарадах, на которых была она; он не спус-

кал с нее своего бинокля в театрах; на Невском проспекте его рысаки обгоняли ее рысаков; он четыре раза в день в различных экипажах проезжал мимо ее окон; он подкарауливал ее в Английском магазине, у Елисеева и в других лавках.

Но Шарлота Федоровна вела себя очень тонко и расчетливо. Она знала, что великосветские господа, по милости которых отчасти она держалась на высоте моды, считают внука миллионера человеком дурного тона, подсмеиваются над его претензиями и желанием выставиться, и вместе с ними смеялась над ним, обнаруживала перед ними презрение к нему, говорила, что этот купчик надоедает ей, что она не знает, как от него отделаться, и прочее, а между тем, говорят, тайком вела с ним переговоры, потому что упустить его считала по справедливости нерасчетливым.

Слухи эти подтвердились Иваном Петровичем. Я встретил его однажды на улице. Он подошел ко мне в ту самую минуту, когда Шарлота Федоровна промчалась мимо нас на своих рысаках. Иван Петрович, значительно

улыбаясь, проводил ее глазами, прищелкнул языком и, обратись ко мне, сказал:

– Вот-с уж барыня, так барыня!

– А вам нравится?

– Помилуйте, да как не нравится. Я с ней имел счастье недавно провести целый вечер.

– Каким же это образом?

– Да просто у нас в доме-с. Недели две тому назад изволите видеть, у Василья Прохорыча зашел спор с молодым Мыльниковым. Василий Прохорыч говорит, что для меня, говорит, нет ничего на свете недоступного. Все, что пожелаю, говорит, буду иметь. А Мыльников-то улыбнулся и говорит ему: «Ну, говорит, атанде, не всё, шалишь! Вот позови-ка нас ужинать – чтоб Шарлота Федоровна была. Ну-ка!» – А наш-то ему отвечает. «Велика, говорит, важность Шарлота! Да она будет у меня, когда хочешь». – «Нет, говорит, врешь, не будет, ведь она теперь так нос задрала, что ужас». – «А будет!..» Слово за слово, знаете, и побились об заклад о дюжине шампанского. Ну, разумеется, Мыльников проиграл – приехала, только хоть мы и выиграли дюжину шампанского, а этот визитец нам дорого обо-

шелся-с. Еще до визита двух вороненьких рысаков к ней на конюшню послали... так вот изволите видеть, в назначенный Василием Прохорычем вечер собрались мы часам к девяти эдак; всё свои, самые близкие только, человек нас пять всего было, вместе с Василием Прохорычем... Мыльников расфрантился, распомадился, завился, раздушился, как херувим какой расхаживает – и все в зеркала смотрится.

Признаться, и мы себя во всем блеске показать захотели; зажгли все люстры и кенкеты, комнаты горят просто как на балу на каком. Сам-то ходит во фраке, и все мы во фраках – нельзя, говорит, иначе, потому что в Европе вечером все во фраках, так заведено, а уж там, где, говорит, дамы, в сюртуке быть почитается величайшим невежеством. У нас теперь ведь все по-европейски, без Европы мы шагу не делаем... Ну вот он, знаете, похаживает, как будто ни в чем не бывало, а сам между тем все на часы посматривает. Уж близко к десяти, а ее все нет. Мыльников подходит ко мне и говорит:

– А что, Ваня, ведь я пари-то выиграл, – не

приедет!

– Нет, – я говорю, – проиграл, шер ами. Я тоже нынче по-французски запускаю с тех пор, как мы из Европы-то прикатили. Уж коли, говорю, он сказал, что приедет, так приедет.

– Неужто, говорит, взаправду? Мне, говорит, на проигрыш наплевать, а главное, хочется вблизи-то на нее посмотреть. Так ты думаешь, что приедет?

– Непременно.

– Что ты? У меня, брат, даже, говорит, сердце забилось, – ей-богу...

В половине одиннадцатого – Звонок. Мы всё переглянулись – кому же, кроме ее? У Мыльниковы даже вся кровь в лицо бросилась... Он к зеркалу, и виски поправлять.

Наш-то посмотрел на всех с торжеством, «она! говорит, она!» – и пошел ей навстречу.

Входит. Господи! как разодета!.. в белом шелковом платье с фальбарами, по белому-то лиловые полосы, вся в кружевах, декольте, а шейка-то беленькая, как сливки, и у самого разделеньица-то, на грудочки-то, ужаснейший брильянтище, так и сверкает, так и переливается... Я, знаете, таким молодцом рас-

шаркнулся перед нею, а Мыльников – ведь такой чудачина, даром что сам миллионер и с виду лихач, совсем оробел, стоит как пень и выпучил на нее свои буркалы-то...

А наш-то указал на нас и говорит ей:

– Имею честь представить – это, говорит, всё мои приятели, – всех нас по фамильям называл...

Она обвела нас глазками, а глазеньки-то какие: с поволокой – чудо! улыбнулась эдаким приятнейшим манером и кивнула всем нам головкой.

– Я, говорит, из Французского театра, все такие глупые пьесы давали... Я и не дождалась конца.

И расселась в кресло, а наш-то под ноги ей скамеечку..

– Мерси, говорит, обдернула платице и ножку выставила.

Как я взглянул, верите ли – у меня так по всему телу мурашки и пробежали. Башмачок-то маленький, узенький, с обшивкой и с лиловым бантиком, чулочек-то шелковый, так и обтягивает ножку – и точно как зарей подернут, – с розовым оттеночком...

И как пошла говорить, что твои гусли: обо всем так прекрасно рассуждает, все так критикует. Умница такая!

А Мыльников мне на ухо:

– Фу ты, братец, говорит, какая образованная!

– Да, я говорю: это не то что Луиза Карловна, далеко кулику до Петрова дня, а я-то, дурак, думал прежде, что уж лучше и умнее Луизы Карловны нет на свете женщины!..

– И посмотри, Ваня, – Мыльников-то говорит мне и, знаете, толкает меня под локоть, – манеры-то какие: развалилась ведь точно княгиня.

Поговоривши эдак с полчаса, встала она и начала рассматривать наши редкости: остановилась против часов, – большущие эдакие бронзовые часы, он привез их из-за границы: две женщины с каждой стороны лежат неглиже, внизу амуры играют, и к ним канделябры свеч об двенадцати каждая, один человек и не поднимет, тысячи две на наши деньги заплатил... Она долго любовалась ими, все кругом осмотрела, да и говорит: «На что, говорит, вам эдакие часы!.. Мне в гостиную, говорит,

надобно часы; будьте-ка любезны – подарите их мне». Ну а наш-то, знаете с амбицией, хоть и жалко, да уж ни за что не покажет.

– Извольте, говорит, с большим удовольствием, они завтра же утром будут у вас, – так, знаете, равнодушно, как будто они целковых три стоят.

Показал он ей фарфоровые куклы, тоже навез с собою оттуда, говорит, что редкие, дорогие... Предложил сам – не угодно ли, говорит, выбрать! – Почти что все забрала, ей – богу... уж нам смешно, мы мигаем друг другу, а она ничего – ходит по комнатам, как королева какая, и отбирает, что ей нравится. Верите ли, тысячи на три с лишком разных вещей набрала.

Тут пошло угощение: мороженое, чай, конфеты... Мы с Мыльниковым сначала оробели маленько, но к концу тоже в разговор вступили, а после ужина Мыльников-то даже расходился. «Позвольте, говорит, вашу ручку поцеловать». Она улыбнулась и ни слова – протянула ему руку; ну уж затем и я решился. «Уж удостоьте, я говорю, и меня тем же благоволением», – и мне протянула, и я приложился и

смотрю – один пальчик весь в кольцах – и все сотенные: яхонты, брильянты, опалы, жемчуг – я в этих вещах толк-то знаю, – думаю: ах, кабы со всем и с кольцами пальчик-то откусить!..

До двух часов пробыла, а на другой день все вещи, которые выбрала, уложили мы и отправили к ней. Мне уж часов-то больно жалко, остальные-то вещи бог с ними!

Так вот они, эти барыни-то, каковы! Хороши, красивы, а пальца им в рот не клади – откусят-с!

Эта поговорка, кажется, оправдалась над Пивоваровым, потому что, кроме подарков вещами и рысаками, он, говорят, заплатил за Шарлоту Федоровну тысяч пятнадцать рублей серебром долгу; к этому прибавляли еще, что после уплаты долга дверь ее квартиры более не открывалась для него и что Шарлота Федоровна даже отворачивалась при встрече с ним.

Самолюбие внучка миллионера было оскорблено сильно, что можно было заключить из отзывов Ивана Петровича о Шарлоте Федоровне.

– Что, ваш Вася продолжает с нею все в дружбе жить? – спросил его мой товарищ.

– Помилуйте! – воскликнул Иван Петрович, – какое! уж давным-давно все кончено... Мы ее бросили и смотреть-то на нее теперь не хотим. Мы найдем и почище ее. Черт ее возьми совсем! Мы, батюшка Александр Григорьевич, охотники, ловцы, а известно, что на ловца и зверь бежит. Да, признаться, пора бы и перестать; побаловали – и полно. Время бы уж своим домком обзавестись, хорошую хозяйку взять – вот что. Старик-то наш, слышно, уж приискивает ему невесту. Остепениться, говорит, пора малому-то...

Семейство моего товарища заключалось в матери и сестре. Отец его, совершивший все земное, то есть достигнувший полного генеральского чина, скончался лет восемь перед этим. Матери его было лет под пятьдесят; она еще тщательно сохранила остатки прежней красоты, не прибегая для поддержания ее ни к каким искусственным средствам. Она принадлежала к тому разряду женщин, которых обыкновенно зовут благовоспитанными. Она была всегда одета с приличием и вкусом, не моложе своих лет, но не без некоторого оттенка кокетства, никогда не позволяла себе увлекаться в разговоре и постоянно говорила ровным тоном, не возвышая и не понижая голоса; никогда почти ничего не читала; безусловно подчинялась всем тем светским условиям, воззрениям и обычаям, среди которых она прожила полжизни, и почитала их величайшею мудростию, а уклонение от них ужасною безнравственностью. Впрочем, несмотря на свою наружную холодность, она имела сердце мягкое и доброе и очень любила детей

своих. И хотя сын ее беспрестанно противоречил этим условиям и обычаям и никогда не соглашался с ее воззрениями, она поневоле примирялась с ним, убедясь его примером, что можно быть честным и порядочным человеком совершенно вне этих условий. Он вел себя относительно ее с большою почтительностью, осторожностью и тактом, и избегал случаев раздражать ее противоречием, но иногда в минуту увлечения высказывался против воли – и в таких случаях она, вздыхая, всегда повторяла: «Я удивляюсь, какие у вас нынче странные понятия обо всем!» Это замечание напоминало ему, что он перешел должные границы, и он в таких случаях обыкновенно переменял разговор. Он был бы совершенно счастлив и почти спокоен в семейном быту, если б его не тревожило страшное честолюбие, которое маменька питала за него. Маменьке непременно хотелось, чтобы он сделал блестящую карьеру, получал чины, кресты, придворные звания, чтоб он составил хорошую партию, женился бы на какой-нибудь княжне, графине или по крайней мере на графской или княжеской родственнице –

великосветской барышне, а все это не совсем согласовалось с его независимым образом мыслей, прямодушием и отсутствием всякого тщеславия. Отсюда возникали иногда довольно неприятные домашние сцены и объяснения между сыном и матерью. Сестра его была девушка очень умная и с таким твердым и серьезным характером, которые попадают не часто и образуются в самой неблагоприятной для них среде каким-то чудом. Брат любил ее без памяти и питал к ней большое уважение, несмотря на то, что она была гораздо моложе его, потому что перед ней он чувствовал еще сильнее слабость собственного характера. Она была посредницею между братом и матерью, особенно в минуты честолюбивых припадков последней относительно сына.

Я бывал в этом семействе довольно часто и проводил у них иногда целые вечера, в то время как мой товарищ рыскал по Петербургу. Одна из самых частых посетительниц в их доме была пансионская подруга сестры моего товарища – прелестнейшая девушка, какую я когда-либо встречал в жизни. В этой девушке было столько грации – не условной, искус-

ственной грации, которая вырабатывается воспитанием, а природной, выходящей из глубины благородной, прекрасной природы, – столько гармонии во всем ее существе, что она вдруг поражала невольно и останавливала всякого, кто видел ее в первый раз. Она была так нежна и легка, что иногда, при поэтическом настроении духа, ее можно было принять за видение. Белокурые, почти льняные, и пушистые волосы украшали ее головку, черты лица ее отличались не столько правильностью, сколько привлекательностью, которая особенно выражалась в ее темно-серых глазах. Ее стан, рост, нога и рука – все это могло бы служить образцом для художника. Таково было первое впечатление, производимое ею на всех, но странно, когда в нее вглядывались ближе, к нему присоединялось какое-то неопределенное, но грустное чувство, возбуждаемое непрочностью и слабостью этого существа, которое, казалось, не могло ни минуты быть само по себе, без посторонней помощи и поддержки. Она походила на те нежные, тонкие, вьющиеся растения, которые ищут возле себя деревца – и если находят

его, то с любовью обвиваются около его стебля и поднимаются до самой его вершины, а если не находят, то расстилаются по земле и гложнут в траве; под защитою этого деревца они не боятся бури, но вянут от одного грубого прикосновения руки человеческой.

Я не мог судить об ее уме, потому что мне не случалось говорить с ней серьезно, и она вообще, кажется, была мало разговорчива, но в самом пустом, обыкновенном разговоре ее было что-то приятное; может быть, причиною этого был звучный, но в то же время тихий, симпатический голос. Я впоследствии видал ее довольно часто – и не слыхал от нее никогда ни одного пошлого слова, но всего сильнее действовала на меня ее улыбка, в которой была неотразимая привлекательность и которая, как луч солнца, вдруг озаряла ее личико. Эта улыбка была полным выражением ее внутренней веселости, которая никогда не доходила до смеха, – по крайней мере я не видел ее смеющуюся вслух. Женский смех – вещь очень серьезная... Смех часто изобличает внутренние качества женщины и степень ее развития. Женский громкий и резкий смех,

раздражающий нервы, отталкивает от самой хорошенькой женщины.

При появлении каждого нового незнакомого лица она тотчас, казалось, уходила в себя, до того она была робка и впечатлительна, и если даже кто-нибудь из знакомых обращался к ней в разговоре, она всякий раз как будто внутренне вздрагивала.

Когда я увидел в первый раз эту девушку и еще не знал, кто она, я был убежден, что такое тонкое, изящное и деликатное существо могло родиться не иначе, как в высших сферах общества, – до того сильны предрассудки, вкоренившиеся в нас с детства. Мне, я должен признаться откровенно, было даже, несколько неприятно, когда я узнал, что она дочь купца, и после этого в первые минуты она несколько потеряла для меня свой поэтический колорит; вглядываясь в нее потом внимательно, я старался отыскивать в ней (хотя напрасно) каких-нибудь следов того сословия, к которому принадлежала она.

Сестра моего товарища чувствовала к ней глубокую привязанность и говорила об ней почти с увлечением, хотя вообще увлечение

вовсе не было свойственно ее серьезной природе. Товарищ мой часто забывал для нее клубы, театры и своих приятелей и целые вечера, к удивлению всех, просиживал дома... Даже его матушка благосклонно находила, «qu'elle est tout a fait distinguee», хотя мысль, что дочь купца – друг ее дочери, все-таки несколько оскорбляла ее.

Товарищ мой передал мне, что у подруги его сестры в живых только отец-старик, – человек нрава крутого, русский самодур, но очень любящий ее по-своему, и что она богатая и единственная его наследница.

Однажды мы как-то откровенно разговорились об этой замечательной девушке...

– А что, любезный друг, женись-ка на ней, – заметил я, – право, я говорю не шутя.

– Какой вздор! – возразил он, – нет, любезный друг, во-первых, я стар для нее: мне уж тридцать лет; во-вторых – нравиться женщинам я не умею и не могу, да у меня и фигура не такая; а в-третьих – я не так себя поставил, я испортил всю мою жизнь, изуродовал себя – и ни к чему серьезному не способен, а женитьба – вещь очень серьезная. К тому же ты

знаешь мою матушку! Из этого могли бы выйти такие семейные сцены и неприятности!.. Она женщина добрая, хорошая, но вся напичкана, к сожалению, барскими предрассудками...

Если бы я был уверен, что я, точно, могу составить ее счастье... но дело в том, что я в этом вовсе не уверен. Как мне ни надоела эта бродячая, цыганская, глупая и пустая жизнь, которую я веду до сих пор, как она ни тяготит меня, как мне ни опротивела вся эта компания, среди которой я провел мою молодость и от которой путного слова не услышишь, а все-таки я еще не совсем отделался от нее и она – я уж это чувствую, положила на меня неизгладимую печать и сделала меня ни на что не годным.

Товарищ мой говорил тоном грустным и желчным и не хотел слушать никаких возражений, но вдруг он расхохотался.

– Мы, впрочем, толкуем ужаснейшие глупости, – сказал он, – ну, скажи пожалуйста, можешь ли ты меня вообразить серьезно женатым. Мне кажется, смешнее этого ничего быть не может. Признайся.

Я должен был сознаться, что это правда.

– То-то и есть! Нет, уж мне, видно, придется остаться холостяком на всю жизнь – и промаячить ее бесполезно и для себя и для других. Если б я вздумал приобрести подружку жизни, из этого бы вышло вот что... слушай:

Он начал представлять комическую картину своей семейной жизни – и сам от души заливался над своею остроумною фантазией...

Прошло с год после этого. Подруга сестры моего товарища посещала ее так же часто, но товарищ мой начал явно удаляться от нее и избегать ее.

Раз как-то мы сговорились ехать куда-то вместе, и я заехал за ним. Я нашел его против обыкновения в мрачном, беспокойном и раздражительном расположении духа.

– Нет, брат, я что-то не расположен ехать... извини меня, – сказал он мне, когда я напомнил ему об нашем визите, – скучно и лень.

Он уничтожил папироску за папироской и почти все молчал, что с ним случилось необыкновенно редко.

– Да что с тобою?.. Ты нездоров? – спросил я.

– Нет, разве я бываю когда-нибудь болен. У меня воловья природа, на меня ничего не действует... Ах, знаешь ли новость? – сказал он после минуты молчания, – Пивоваров женится.

– С чем его и поздравляю. Это, впрочем, меня мало интересует, – возразил я.

– Но как ты думаешь, на ком?

– Почему же я знаю. Ну, например?

– Черт знает, это просто ни на что не похоже! Как-то верить не хочется – на Ольге Петровне (так звали подругу сестры его).

– Может ли это быть! – вырвалось у меня невольно, – каким же это образом? Что может быть общего между этою девушкою и между этим господином.

– А между тем она будет его женою!.. В самом деле, не безобразно ли это?

– Да неужели ж это правда? Если бы мне это приснилось, я такой сон почел бы самым глупейшим из снов.

– Действительность-то, видно, иногда бывает глупее снов, – возразил мой товарищ, – мне ужасно жаль эту девушку. Неправда ли, жаль ее?

– Но разве уж все решено?

– К несчастью. Старик, ее отец, и дедушка этого противного купчика – старинные приятели. Они, говорят, давно между собою решили это прекрасное дело: соединить со временем свои капиталы посредством этого брака. Ведь ее отец – это закоснелый, упорный мужик, который если заберет какую-нибудь чушь в голову, так ее колом потом из нее не выбьешь.

– Да она-то что же?

– Что ж она? ее и не спрашивали. Ей объявили, когда уж дело было решено. Это твой жених – и кончено. Говорят, она бросилась к отцу, умоляла его, чтоб он отменил свое решение, объявила ему, что она не любит этого господина и никогда любить не будет, а отец затопал ногами, поднял крик. «Дочь, говорит, должна повиноваться отцу, а не рассуждать. Отец лучше знает, что может составить счастье дочери. Еще ты молода, привыкнете друг к другу; после, говорит, слюбитесь», – и прочее в этом роде, как водится, а затем привели жениха, да и благословили их. Страшно, говорят, смотреть на эту бедную девушку! Сестра

моя просто в отчаянии, – ты знаешь, как она любит ее. Мы вчера с сестрой имели пренеприятную сцену с матушкой. Она начала уверять нас, что Пивоваров прекрасная партия для нее... что чего же наконец ей нужно! не за князя же ей выйти замуж! что она все-таки купеческая дочь и что Пивоваров – жених, каких немного... что он легко бы мог даже сделать лучшую партию с таким огромным состоянием, какое у него в виду, то есть, что и дворянка могла бы осчастливить его своим согласием на брак!.. Я не выдержал и сказал ей, что так рассуждать, как рассуждает она, бесчеловечно... Тут поднялась буря, посыпались на меня жалобы, упреки; при этом удобном случае всё вычитали мне, что я не хочу служить, как следует, веду праздную жизнь, имею знакомства бог знает с какими людьми (ну это-то отчасти правда!), что Перфильев моложе меня, а уж давно камер-юнкером, что я не умею искать ни в ком, и прочее и прочее. В заключение нервический припадок, все это, как следует. Мне-то это, впрочем, все нипочем, с меня как с гуся вода, но мне больно за сестру, она и без того расстроена, да и при та-

ких сценах она всегда страдает больше меня... Что ж, – печально прибавил в заключение мой товарищ, – нападать после этого на грубость и бесчеловечие какого-нибудь разжившегося и разъевшегося мужика, вроде отца Ольги Петровны, когда женщины добрые, считающиеся образованными, и притом дворянского происхождения рассуждают не лучше!.. Нет, любезный друг, жить скучно!..

Как будто для окончательного раздражения моего товарища в эту минуту явился к нему Иван Петрович.

– Батюшка, Александр Григорьич, – заговорил он, входя в комнату, – поздравьте нас, на нашей улице праздник, мы женимся! Вот будет пир-то горой! И невеста-то какая у нас, – да ведь вы ее знаете, что вам говорить об ней. Фея можно сказать эдакая, только уж слишком эфирна, не мешало бы немножко поплотнее. Теперь у нас в доме такая возня идет – ужась! Дедушка-то наш дает нам особую половину возле себя в бельэтаже, уж отделывать начали: потолки мы вызолотим, стены шелком обобьем, зеркала до потолка пустим – знай наших! А там наследничка заведем –

эдакого махонького. Одной мебели, я вам скажу, мы уж заказали Туру тысяч на пятнадцать, ей-богу. Мне жалко, что часы-то он подарил Шарлоте Федоровне, а эти бы часы в гостиную на мраморный камин – славно было бы, – уж таких часов в Петербурге ни за какие деньги не достанешь. И как я рад этой свадьбе, то есть вы не поверите; точно как будто я сам женюсь, ей-богу. Такое веселье пойдет теперь... эти свадебные банкеты, балы... гуляй, душа!

– Убирайтесь вы с вашими банкетами и балами, – вскрикнул мой товарищ с таким презрением и негодованием, какого я никогда не видел в нем. Иван Петрович вытаращил глаза от удивления и даже испугался.

– Веселье! – продолжал мой товарищ, – хорошо веселье, когда невесту потащат под венец силой!.. Если б в вашем глупом, беспутном Василье Прохорыче был хоть признак сердца, если б у него была хоть капля совести, хоть тень собственного достоинства, он отказался бы от нее. Понимаете ли вы, что брат себе жену насильно – подло!.. Впрочем, и я дурак, что я вам это говорю... (Он разгорячился

все более и более) вы не поймете этого, – ни вы, ни ваш Василий Прохорыч; вы бессмысленно радуетесь этому потому, что вы блюдолиз и по случаю этого брака вам представляется лишний раз наесться и напиться!..

Иван Петрович совсем оробел от такой резкой выходки, совершенно неожиданной для него, особенно от такого доброго, кроткого и вечно веселого человека, каков был Александр Григорьич. Иван Петрович переминался с ноги на ногу, посматривал жалобно то на него, то на меня, как будто глотал что-то, и бессвязно бормотал:

– Да нет, помилуйте, Александр Григорьич, я что же... я тут ничем не виноват-с... мое дело – сторона.

Товарищ мой молчал. Иван Петрович повертелся немного, потом начал было рассказывать какое-то новое похождение купеческого сынка Мыльниковова, но, заметив, что его не слушают, и почувствовав неловкость, незаметно удалился.

VI

В последние дни перед свадьбою сестра моего товарища почти не оставляла ни на минуту своей подруги. «Я боюсь за нее, – говорила она мне, – она не перенесет этого. Меня пугает ее наружное спокойствие. Она как будто примирилась со своим положением, но это не примирение, а равнодушие отчаяния. Я вздумала было говорить ей обыкновенные утешительные пошлости и уверять ее, что в ее женихе, кажется, есть много хороших сторон, что она своим влиянием на него может со временем развить эти стороны и отвлечь его от дурного общества, в котором он находится, но она остановила меня. „Бога ради! – сказала она, – не говори того, чему ты сама не веришь. Я прошу тебя только об одном: не оставляй меня. Без тебя я с ума сойду!“ – и она бросилась ко мне на грудь. „Господи! если бы я могла хоть плакать, прибавила она, мне все-таки было бы легче“. Я не выдержала и высказала все ее отцу: но он отвечал мне на это: „Нет, матушка, вы уж, пожалуйста, не сбивайте ее с толку. Уж это наше дело, все это пустя-

ки, все обладится. Вы уж, сударыня, не беспокойтесь понапрасну“.»

Накануне свадьбы мы с товарищем моим стоворились вместе ехать в церковь. Он был в числе приглашенных, но не желал воспользоваться этим приглашением. Он хотел присутствовать на этой церемонии не официально, а тайно.

– Это зрелище, – говорил он, – плачевное; но, я сам не знаю отчего, – меня так и тянет посмотреть на него.

В 8 часов вечера мы вошли в церковь. Она была ярко освещена, все свечи в люстре и паникадилах были зажжены, как в дни великих торжеств. От самой паперти тянулся широкий ковер. По обеим сторонам поставлены были перилы, которые отделяли обычных и любопытных свадебных зрителей и зрительниц от приглашенных. На клиросе толпился большой хор певчих в парадных кафтанах с галунами, кистями и откидными рукавами. Жених с своими родственниками и приятелями были уже в церкви и ожидали невесту. Впереди всех стоял старик Пивоваров в сюртуке с гербовыми пуговицами, во всех меда-

лях и орденах, в белом галстуке и в белых лайковых перчатках, которые надевал он, может быть, раз пять или шесть в своей жизни, в самые торжественные случаи. Лицо его сияло удовольствием. Через несколько минут должна была осуществиться самая любимая мечта его. Он разговаривал с каким-то генералом в золотых галунах, в ленте и с двумя звездами.

Жених в белом галстуке с большим бантом, в белом жилете, на котором блестела цепочка с кучею брелочков, и в палевых перчатках, безукоризненно обтягивавших его руки, разговаривал с своими приятелями: Иваном Петровичем и купеческим сынком Мыльниковым, который стоял неподвижно, улыбаясь, и с трудом поворачивал свою завитую голову в сторону, боясь, вероятно, измять свои брыжки; жид-фактор, по своему обыкновению, выставлял голову вперед, скалил зубы и беспрестанно поворачивал голову из стороны в сторону, как бы обнюхивая носом кругом себя; Иван Петрович с умилением поглядывал то на дедушку, то на внука, то на генерала в ленте; на последнего с чувством благоговей-

ного удовольствия, как будто, глядя на него, он думал: «Знай наших! вот какие у нас приятели!»

Вдруг во всей толпе, наполнявшей церковь, обнаружилось движение, все головы обернулись к дверям, пронесся всеобщий шепот: «Невеста! невеста!» – и хор грянул концерт. Товарищ мой вздрогнул и поднялся на цыпочки, чтоб лучше видеть...

Я увидел невесту в ту минуту, когда она уже стояла рядом с женихом. Перед этим я давно не видал ее. Мне показалось, что она несколько похудела. Вглядываясь в нее пристально, я заметил, что она стояла совершенно без всякого движения, что даже ни один мускул на лице ее не шевелился и веки были полуопущены, точно как будто она замерла в таком положении.

– Посмотрите-ка, Пелагея Ивановна, – говорила сзади меня какая-то барыня, толкая под руку другую, – что это такое: в невесте-то ни кровинки, точно как не живая стоит, ей – богу.

– Да, да! а жених-то очень не дурен, очень! – возразила Пелагея Ивановна, – ведь

миллионщики, говорят, и он и она.

– Уж это всегда так, матушка, богатые к богатым и льнут...

– А посмотрите, посмотрите, что это жёних-то как будто пошатывается! – перебила Пелагея Ивановна.

Я взглянул на него, и мне точно показалось, что он... не то, чтобы пошатывался, а в корпусе его обнаруживались по временам какие-то неестественные движения, и лицо его было как-то уж очень красно, составляя решительный контраст с лицом его невесты. В эту минуту Иван Петрович, стоявший впереди нас за перилами, обратился к какому-то господину, стоявшему с ним рядом, и, улыбаясь, сказал:

– А ведь наш немножко... того, – и при этом он щелкнул по своему белому галстуку, – он, знаешь, перед самым отъездом для куражу один хватил целую сулеечку.

– Что ты?

– Ей-богу, – подтвердил Иван Петрович, – нельзя же, надо, знаешь, кровь привести в движение: ведь сегодня нам трудов-то будет много!

И они оба засмеялись.

– Вот уж это свадьба, так свадьба! – начала сзади меня Пелагея Ивановна, – какие певчие – чудо! а у дьякона-то какой голос!

Действительно, дьякон был замечательный! по крайней мере мне не удавалось слышать такого. Его глухой и густой бас гремел, как раскаты грома, под церковными сводами и, казалось, заставлял дребезжать стекла в оконных рамах. Протопоп благочестивой наружности с клинообразною седой бородкой, напротив, имел голос мягкий, нежный и едва слышный... Их блестящие ризы, яркое освещение церкви, хор нарядных певчих, генералы в блестящих мундирах, с лентами через плечо, купчихи, усыпанные брильянтами, все способствовало благолепию, блеску и торжественности бракосочетания.

Когда таинство совершилось, протопоп произнес краткое красноречивое поучительное слово к молодым, и затем начались поздравления, поцелуи и прочее.

Наблюдательная Пелагея Ивановна, все время не спускавшая глаз с молодых, вскрикнула в ту минуту, когда начались поздравле-

ния:

– Ах ты господи! Посмотрите, что это молодой-то как будто дурно... видите, видите, ее поддерживает эта барышня.

В самом деле ее поддерживала сестра моего товарища.

Толпа любопытных бросилась к церковной паперти, чтобы поближе взглянуть на молодых, когда они будут садиться в карету. Товарищ мой схватил меня на руку...

– Ну, довольно! – сказал он, – поедем ко мне чай пить...

Мы едва продрались сквозь толпу...

Чай уже давно стоял перед нами; товарищ мой ходил по комнате: я лежал на диване и курил сигару. Оба мы были в каком-то тяжелом раздумье и не произнесли еще ни одного слова.

Наконец товарищ мой остановился передо мною.

– Если подумаешь, как глупа наша жизнь, – сказал он, – так, право, делается страшно!.. Вот, например, возьми хоть мою жизнь... Что это такое? Я до сих пор был совершенно слепцом, ничего не понимал и не

видел, что делается передо мною, никакая серьезная человеческая мысль не приходила мне в голову, я никогда не задумывался ни о самом себе, ни о чем, окружавшем меня, – ел,пил и шутил, полжизни! А ведь я не дурак, имею кое-какое образование, мог бы быть на что-нибудь годным, – но полжизни бессмысленно и бессознательно протолкался на свете, бесполезно для самого себя и для других... чтобы заслужить от пошлых дураков лестное название доброго малого, славного товарища, – это ведь ужасно!.. Я наконец дошел до того, что оступел совершенно, и нахожу удовольствие в обществе шутов, подобных Ивану Петровичу, я считаю его добрым малым, точно так же, как и он меня в свою очередь; между нами начинается даже некоторого рода симпатия. Вася Пивоваров считает меня почти своим, я в этом убежден... да что Пивоваров?.. Разве мой друг Ртищев и тому подобные лучше его? Разве какой –нибудь великосветский, утонченный шут, пресмыкающийся и расстилающийся перед всяким внешним величием и перед всякою силою, сам доползший до богатства и почестей ле-

стью и шуточками, лучше чем-нибудь купеческого грубого шута и блюдолиза Ивана Петровича? И мне совестно, что я последний раз оскорбил его, он ведь все-таки беззащитный!.. конечно, он гадок и подл, но он не чувствует этого, а я это вижу ясно – и пускаю его к себе для своей забавы! Какое же имею право оскорблять его? Нет! с каждым днем, с каждой минутой я более путаюсь в этой жизни, и мне становится тяжелее... Я во что бы то ни стало разом перерву все мои прежние связи и все эти трактирные и другие нелепые знакомства. Я уж одержал победу над собою, – поздравь меня, – я не велел пускать к себе Ивана Петровича и еще некоторых господ гораздо повыше его... Глядя сегодня на этих тупых, бессмысленных и толстых женщин с брильянтами и с черными зубами; на этих бородатых самодуров, налитых чаем; на этого расфранченного жениха, полупьяного дикаря в костюме английского денди и представляя себе будущую картину его супружеской жизни и страданий, ожидающих эту несчастную женщину, я задыхался от негодования... Ведь очень нужно было ей родиться в такой среде!

Впрочем, знаешь что?.. рассуждая хладнокровно, может быть, и в других средах участь ее была бы не легче. Много ли бы она выиграла оттого, если бы родилась княжною и должна бы была сделаться, например, женою какого-нибудь князя Ртищева?.. Такие явления, как она, у нас исключения, а всякое исключение, все, что выходит из обыкновенного порядка вещей, – обречено на гибель. Ну, способны ли мы, – скажи по совести, – ценить эти редкие, утонченные женские натуры: ведь мы, со студенческих скамеек прямо, очертя голову, бросаемся в грязь жизни и потом по горло тонем в ней, пресыщаясь всевозможными и даже невозможными наслаждениями; мы – люди, рождающиеся в довольстве и в обеспечении, не привыкшие ни к каким заботам, ни к каким лишениям, не испытывавшие никогда, что такое нужда, имеющие возможность удовлетворять всем нашим прихотям – делаемся, как «плод до времени созревший», ни на что не годными, нравственно растленными внутри... Мы нападаем на Пивоварова, а, в сущности, чем Пивоваров хуже какого-нибудь сына или внука миллионера

с великолепными титлами и гербами? И тот и другой одинаково подвергаются порче еще с отроческого возраста и представляют потом примеры возмутительной пустоты и беспутства. У того и другого с ранних лет образуется маленький двор из различных шутов, льстецов и угодников... Разница между ними та, что один – пустой и беспутный господин так называемого хорошего тона, а другой – дурного тона, и мы, язвительно нападая на последнего, защищаем первого потому только, что он пуст, беспутен и развратен по всем правилам какого-то нелепого, условного *comme il faut*. Хороши мы, нечего оказать!.. *Le bon ton, la vie elegante!* Видал я вблизи эту элегантную жизнь, – славная жизнь, нечего сказать!.. Татарская дикость одинаково скрывается и под элегантными формами какого-нибудь князька-миллионера и под франтовским костюмом Пивоварова или купеческого сынка Мыльниковы, – только у последних она уже слишком резко бросается в глаза.

Товарищ мой был очень раздражен, и потому я не противоречил ему, да, признаюсь, и противоречить-то было нечему.

– Во всех классах общества, конечно, есть люди хорошие, – продолжал он, – но если у нас встречаются люди в полном и благородном значении этого слова – с значением, с убеждением, с мыслию, – серьезные, дельные, самостоятельные люди, так они выходят из тех бедных классов, которые каждый шаг в жизни, чуть не с колыбели, принуждены брать с бою... А от нас ждать, кажется, нечего... Впрочем, я решился сделать последнюю попытку над собою: победить в себе лень, побороть пустоту и заставить себя заняться чем-нибудь серьезно. Мне давно предлагают такого рода место, на котором я могу быть, кажется, полезен. И теперь мне ничего более не остается, как отдать всего себя служебной деятельности. Что из этого выйдет, я не знаю, – но попробую... Как ты думаешь? – спросил он меня после минуты молчания.

– Это прекрасно, – отвечал я, – попробуй. Надобно же испытать самого себя. Сложить руки и целый век стонать о своем бессилии, о своей неспособности – глупо и стыдно.

– Решено! С этой минуты я перерождаюсь!.. – произнес он с увлечением, – ты не по-

веришь, как иногда мне мучительно хочется дела, я ищу его – и оно, как клад, мне не дается, да если бы и далось, то в первое время я еще, мне кажется, не знал бы, как за него взяться. Все-таки надобно воспользоваться первым предстоящим случаем, а этот случай – именно место, которое предлагают мне.

Таким образом толкуя, мы просидели далеко за полночь. Товарищ мой несколько развеселился и, как человек увлекающийся, очень много фантазировал о предстоящей ему служебной деятельности.

Когда я уходил от него, он, провожая меня и улыбаясь, с грустным и горьким юмором, сказал:

– Ты скоро не узнаешь меня. Я в самом деле превращусь если не в дельного и серьезного человека, то в дельного и серьезного чиновника!.. А Ольга-то Петровна?.. – прибавил он через минуту, качая головою, – она уж жена Пивоварова!.. Черт знает, к этой мысли нет возможности привыкнуть!.. Ну прощай, до свидания...

Он как-то быстро и круто повернулся и хлопнул дверью.

VII

Первое время после женитьбы я очень часто видел Пивоварова в ложе итальянской оперы, и всякий раз в этой ложе появлялся князь Ртищев и просиживал там очень долго. Хозяин ложи предоставлял ему обыкновенно место впереди возле своей жены, а сам садился сзади, очень довольный тем, что весь Петербург видит, как он близок с князем. Об этой близости его с князем Петербург, точно, начинал поговаривать очень громко. Разные значительные лица при встрече с князем, благосклонно улыбаясь, спрашивали его:

– Ну что, любезный друг, как дела идут – хорошо? – и князь, почтительно наклонив голову, как будто не понимая вопроса, возражал улыбаясь:

– Какие дела? – стараясь смягчить несколько свой густой бас перед значительными лицами.

– Еще прикидывается! – замечали благосклонно значительные лица, – а! каков?.. А вот мы насплетничаем на тебя твоей жене...

Я забыл сказать, что князь уже давно был

женат и даже был отец семейства.

– Не беспокойся, любезный друг, – продолжали значительные лица, – мы постараемся быть скромными, а у тебя вкус не дурен, надо отдать тебе справедливость. *C'est une tres jolie femme et tout a fait distinguee...* Откуда взялась такая из купчих! это странно!..

Однажды я сидел в опере рядом с моим товарищем. Впереди нас вертелся в антракте изнеженный офицерик-фат, тот самый, с которым мы обедали некогда в ресторане. Он разговаривал с каким-то штатским фатом.

– *Une jolie personne!* – говорил ломаясь штатский, смотря в бинокль на ложу Пивоварова, – кто это такая?

– Где? – спросил офицерик.

– Вот эта дама, в ложе у которой князь Ртищев.

– А-а!.. как будто ты не знаешь? Это жена Пивоварова. Ртищев в связи с нею: это уж весь город знает.

Товарищ мой побледнел.

– Я тебе не советую повторять этого, – сказал он, обращаясь к офицеру, – это ложь самая глупая, нелепая и бесстыдная, и если бы я

услышал это от самого Ртищева, я и ему сказал бы, что он лжец и хвастун. Во всяком случае, распространять мерзкие городские сплетни и позорить женщину – неблагородно.

– Mais pardon, pardon, – забормотал офицер, – я говорю то, что все, может быть, это и несправедливо, но...

– Но, – перебил мой товарищ, – я этого не позволю никому говорить при мне, потому что я знаю эту женщину и вполне убежден, что это клевета.

Смущенный офицерик повертелся, пробормотал еще несколько pardon и удалился.

– Скажите пожалуйста, что это сделалось с Сашей? – сказал он мне, останавливая меня при выходе из театра, – из веселого, доброго малого он превратился в какого-то мрачного чудака, избегает порядочного общества, удаляется от всех нас, придирается к каждому слову, говорит неприятные вещи... Вы понимаете, что если бы не наша старая связь, не эта короткость, которая всегда существовала между нами, – я не позволил бы ему говорить мне так резко и еще при других! Я ему прощаю только потому, что я все-таки люблю его,

что он наш старый приятель... Вы понимаете...

– Понимаю, – отвечал я, – «нет, ты простил бы всякому, любезный друг, – подумал я, – потому что ты жалкий, изнеженный франт и трус...»

Впрочем, не один этот офицер, а многие из прежних приятелей моего товарища начинали отзываться об нем неблагосклонно. Из этого я заключил, что он не шутя начинает делаться серьезнее. Он занял то место, о котором говорил мне, и отдался своему новому служебному поприщу с жаром и увлечением, по сознанию самых дельных из своих сослуживцев. К изумлению не только своих прежних приятелей, но вообще всех обычных посетителей публичных увеселений, между которыми он пользовался большою популярностью, он перестал появляться в театрах, в маскарадах, в ресторанах и на увеселительных сходбищах. Сожаление и удивление его прежних приятелей скоро перешло в равнодушие и наконец почти в презренье к нему. «Он сделался совсем чиновником», – говорили об нем эти господа с гримасой.

Толки о жене внука миллионера и о князе Ртищеве скоро прекратились, потому что князь вдруг неизвестно почему перестал ездить к Пивоваровым. Так как жизнь нашего общества состоит по большей части из самых мелких интересов и сплетен, то всякое мельчайшее происшествие с известным лицом становится в преувеличенных размерах общим достоянием и предается различным толкованиям: одни говорили, что князь Ртищев перестал волочиться за женою Пивоварова, потому что она ему надоела; другие, напротив, уверяли, что он удалился от нее потому, что потерял терпение и всякую надежду на успех...

Говорят, что первый год внучек миллионера держал себя относительно своей жены довольно прилично, отчасти потому, что о красоте ее прокричали во всех слоях петербургского общества, — следовательно, она удовлетворяла его тщеславию; отчасти потому, что дедушка объявил ему решительно, что если женатым он не станет вести себя, как следует, и по-прежнему будет предаваться дебоширству, то он лишит его наследства.

Но дедушка через полтора года после бракосочетания внука скончался, а вскоре за ним последовал и тесть молодого Пивоварова – отец Ольги Петровны. Василий Прохорыч сделался полным властелином миллионов, которые так давно издавека улыбались ему, и, кроме того, жена его получила, как говорили, после отца до миллиона.

Долго после этого слухи о богатстве Пивоварова, по обыкновению в размерах преувеличенных и колоссальных, занимали любопытные петербургские умы. Имя его сделалось известно всем в Петербурге от самого знатного сановника до самого бедного чиновника. При встрече с ним многие невольно останавливались и с любопытством, как чудо, рассматривали его с ног до головы. Василий Прохорыч при этом подавал постоянную пищу праздным петербургским умам, которые сочиняли об нем удивительные анекдоты и даже целые легенды, содержания совершенно баснословного...

Василий Прохорыч, после смерти дедушки, начал с того, что разломал его старинный дом, прикупил к нему место за большие день-

ги и возвел огромное здание с кариатидами, статуями, вазами, гирляндами и другими архитектурными украшениями, во вкусе Расстрелли; вставил в оконные рамы цельные зеркальные стекла; меблировал внутри с неслыханною роскошью: наставил на мраморные подоконники у каждого окна бананов и других тропических растений, везде пустил шелки, бархаты, тюли; не пощадил мрамора, бронзы и, наконец, чтобы ни в чем не уступить своему сопернику по богатству Мавроконаки, развесил на всех стенах картины известных современных живописцев в дорогих резных рамах, несмотря на то, что к живописи не чувствовал ни малейшего расположения. Картины свои он приобрел оригинально. Он приехал однажды к Нигри – известному в Петербурге продавцу картин и других художественных вещей (Нигри сам потом с глубоким чувством благодарности, смешанным с ирониею, рассказывал мне об этом).

– Ну, говорит, мосье Нигри, мне нужны для моего нового дома самые лучшие картины первых иностранных мастеров и побольше;

если у вас, говорит, не достанет, так вы мне их выпишите. Я денег не пожалею, только лишь бы были самые лучшие. Я полагаюсь вполне на вас.

Нигри привез ему до тридцати картин Кукуков, Каламов, Маду, Рокепланов, Декан и других самых громких имен между современными французскими и бельгийскими живописцами.

– Извольте, говорит, выбирать: это все шедевры. Картины расставили в большой бальной зале. Василий Прохорыч прошелся по зале, бросил беглый взгляд на картины и потом обратился к Нигри.

– Славные, говорит, картины, а что, видели их Мавроконаки?

– Как же! Он мне за одного Калама давал пять тысяч рублей, да я ему сказал, что эти картины выписаны для вас...

– Гм!.. – Василий Прохорыч приятно улыбнулся. – Ну, а сколько они все стоят? Говорите только крайнюю цену.

– Шестьдесят пять тысяч, – отвечал Нигри, призадумавшись немного, – и то только в таком случае, если вы купите разом все.

– Уступите, говорит, что-нибудь.

– Тысячу рублей я, пожалуй, уступлю для вас, но более ни копейки.

– Ну так, говорит, по рукам, мосье Нигри. Картины все за мною.

И затем он повел Нигри в свой кабинет и отсчитал ему 64 000.

– Я, – прибавил мне Нигри в заключение, – больше тридцати лет торгую картинами, но такой случай со мной был первый раз в моей жизни. На такую сумму вдруг не всегда в жизни удастся продать. Когда он сказал мне что он оставляет все картины за собою, у меня дрожь пробежала по телу, а когда он вынул деньги, так у меня даже в глазах помутилось. Вот каков господин Пивоваров! Это редкий, великодушный человек!..

При этом рассказе в глазах г. Нигри дрожали слезы – и не мудрено.

Второй подвиг Пивоварова был – приобретение дачи, принадлежащей князю N. Устройство этой дачи стоило ему также огромных денег. Его оранжереи, сады и парки приводили в свое время в справедливое изумление весь Петербург.

Тщеславие миллионера разрасталось все более и более. Он, говорят, скупал у портных целые груды модных материй для себя, чтобы ни у кого в Петербурге не было таких платьев, панталон и жилетов, как у него; подковывал рысаков своих серебряными подковами; угощал зимой свежими ягодами и другими редкостями военных и статских генералов, которые, обедаясь на его обедах, смотрели на него с чувством глубочайшей признательности и умиления и после обеда за ликерами, забывая свое величие и свой сан, прижимали его к своей сияющей груди с отцовскою нежностью.

– Вот человек, который умеет пользоваться своим богатством, – говорили они.

Но на этих банкетах с генералами, льстивших его тщеславию, он не мог развертываться вполне; они даже несколько утомляли и тяготили его... и он отдыхал от них по вечерам в обществе людей своих, близких, к которым неизменно принадлежали: Иван Петрович, купеческий сынок Мыльников, жид-фактор, биржевой маклер и к которым вновь присоединились: актер, воспевавший его в

застольных куплетах, и капельмейстер какого-то театра, посвящавший ему свои кадрили и польки. На этих задушевных сборищах выпивалось несметное количество так называемых сулеечек, и русский широкий разгул доходил до последних пределов. Все задушевные приятели Василия Прохорыча не терпели его жены и даже до некоторой степени боялись ее, – вероятно потому, что она держала себя от них далеко и обращалась с ними холодно, чувствуя, в свою очередь, некоторую боязнь к ним. Почетные гости Василия Прохорыча – военные и штатские генералы – не обнаруживали также к ней большого расположения. Они отзывались об ней как об женщине сухой и холодной. И сам Василий Прохорыч явно начинал ощущать при ней какую-то неловкость; она стесняла его порывы и невольно останавливала его размашистость. От этого он старался держать себя как можно подальше от нее. Все это можно было безошибочно вывести из различных толков и слухов, особенно же из слов Ивана Петровича, который всякий раз при встрече со мною считал необходимым подходить ко мне и за-

водить со мною беседу.

– Наша Ольга Петровна, – говорил он, – прекрасная дама, только уж такая серьезная, строгая, что боже упаси! У, какая бедовая! Ни шуточкой ее не рассмешишь и никаким эдаким манером к ней не подъедешь. Такая, знаете, не тронь меня, и неразговорчивая: все больше любит уединение и книжки читает. А уж насчет того, чтобы эдак расположение кому обнаружить глазками или улыбкой – куда!.. На что князь Ртищев уж молодец! он, как знаете, подъезжал к нам, – да нет, с тем и отъехал: Взятки-то с нас гладки! Такая, я вам скажу, добродетель, что в нашем сословии, то есть в богатом купечестве, – я уж их всех голубушек-то знаю! – такой еще, кажется, и не бывало. Ей-богу! Точно, есть такие, что очень важно и строго себя держат, – а против какого-нибудь князя с аксельбантами да с саблей ни одна уж, я вам доложу, не устоит... Что и говорить: Ольга Петровна – это редкостная дама!.. Что касается до добродетели, то такую другую, конечно, и днем с огнем не отыщешь, только уж никакой веселости, точно как в воду опущенная: ничто ее не занимает, на все

смотрит – на дорогие тысячные вещи, как на грошовые, и ласки ни за что не дождешься от ней, а вы сами изволите знать, что ласковая телятка две матки сосет. Нашему-то натурально и хочется иногда, чтобы она приласкала его. Привезет он ей какую-нибудь шаль, тысяч в пять серебром, или эдакий эсклаваж какой-нибудь, который горит, как солнце, – хоть бы когда-нибудь за щеку, что ли, потрепала его или поцеловала, сказала бы: «Мерси, душка!» – ни за что, все твердит одно и то же: «Зачем мне это? На что это мне?» Ну это уж, как хотите, обидно: таким обращением, воля ваша, не привяжешь к себе. Не мудрено после этого, если мы будем и на сторонку поглядывать: да другим домком заживем-с. За это и винить нас нельзя будет... Да вот хоть бы, примерно, мы хотели балы давать, – ведь эдакой домище, залы какие, само собой разумеется, что хочется щегольнуть ими: зимний сад осветили бы, фонтаны пустили бы, – весь Петербург ахнул бы, да нет-с, куда!.. Ольга Петровна и слышать не хочет, а ведь без хозяйки какой же бал! И на наши званые-то обеды она выходит как будто нехотя, из одно-

го только приличия, а не то чтобы занять гостей, обласкать, полюбезничать, как следует хозяйке, а гости-то какие, господи! первейший генералитет, звезд-то у нас за обедами, как в темную ночь на небе... Мыльников – тот иногда, знаете, спросту брякнет, – так он раз сказал про нее: не в коня, говорит, корм. И дамы наши тоже ее не жалуют, никуда ведь ездить не хочет, только и дружбу ведет, что с сестрицей Александра Григорьича... Я, впрочем, очень уважаю Ольгу Петровну – прекраснейшая дама, умная, добрая такая, а уж это, видно, такой характер...

Каждый раз Иван Петрович заводил, между прочим, речь об моем товарище.

– Как их здоровье? – спрашивал он, – давно не имел счастья их видеть, их теперь никогда и застать нельзя. Сделались важными, деловыми людьми: в министры смотрят, – так уж нашему брату разве только издалека на них посмотреть можно!..

VIII

После смерти дедушки внук миллионера совсем почти не появлялся в публику с своею женою. Он на театрах и на гуляньях был постоянно с Иваном Петровичем, который поотек, постарел и поседел несколько, но оставался по-прежнему шутником и забавником. Василий Прохорыч также заметно изменился. Он значительно пополнил, и в лице его обнаружилась какая-то не совсем приятная пухлость и краснота. Он был одним из самых ревностных посетителей балета и сидел обыкновенно с Иваном Петровичем в первом ряду на абонированных креслах, изредка только, вероятно для разнообразия, появляясь в литерной ложе вместе с своей обычной компанией – и тогда из этой ложи раздавались громы рукоплесканий одной из хорошеньких корифеек, и к ногам ее сыпались дорогие букеты. Когда мне случалось бывать в балете, я заметил, что всех больше выходил из себя, кричал и аплодировал при ее появления на сцену Иван Петрович и жид-фактор. Так прошло года два...

На петербургской сцене, предшествуемая громкой репутацией, появилась танцовщица уже не первой легкости и молодости, но с роскошными, пластическими формами и с остатками грации, которой несколько вредила излишняя полнота. Несмотря на все ухищрения, принятые против нее поклонниками юных отечественных талантов, – приезжая танцовщица имела успех блистательный и заняла светские петербургские умы по крайней мере недели на две. Ее окружали все известные в Петербурге любители хореографического искусства и пластических форм – и один из почетных петербургских старцев, почтенный семидесятилетний театрал, раздававший венки славы всем наездницам, актрисам и танцовщицам, торжественно объявил, что если она не выше Тальони и Эльслер, то в своем роде не уступит ни одной из них; что она соединяет в себе легкость и грацию Тальони с выразительною мимикой и пластичностью Эльслер. Почтенный старец-театрал составил около себя клику из горячих молодых людей, неутомимых крикунов и хлопальщиков, и руководил ими. Приезжая танцовщица без под-

держки почтенного старца не могла бы, конечно, иметь такого блистательного успеха, она знала это и награждала его самым кокетливым вниманием и ласкала своей пухлой, белой ручкой с драгоценными кольцами на пальце его морщинистые щеки, – а он, глядя на нее, замирал от умиления, отчего нижняя губа его почти совсем отваливалась...

Во главе ее поклонников, во второй же ее дебют, явился внучек миллионера в литерной ложе со всей своей компанией и с возом букетов. Корифейке, которую он протезировал, нанесен был в этот вечер удар неожиданный и страшный. Она вертелась, прыгала и делала пируэты, так что пот градом катился с ее личика, и в заключение подскакивала к рампе и, останавливаясь перед нею, тщетно улыбалась благосклонной публике, вызывая этой милой улыбкой ее одобрения... ни одного звука, похожего на аплодисмент, не раздавалось в этом бесчувственном партере, который еще с неделю назад тому восторженно приветствовал ее появления. Бедная девочка в тоскливом предчувствии чего-то недоброго, выправляя носки за кулисами, залилась горя-

чими слезами.

Но когда во втором акте балета приезжая танцовщица, в три прыжка перелетев сцену, закружилась у рампы и потом упала на руки танцора, подняв очень высоко правую ножку и приняв неописанно-грациозную и соблазнительную позу; когда гром рукоплесканий раздался по зале, а из литерной ложи раздались дикие неистовые крики: Brava! Brava!.. – и посылались на сцену гирлянды и букеты, которые, казалось, готовы были затопить сцену, как во время Неронова пиршества, описанного г. Меем, и изумленные зрители обратились к цветочной ложе, несчастная корифейка, видевшая все это, поняла, что участь ее решена, и чуть не упала в обморок.

В следующем затем антракте Василий Прохорыч в белом галстуке, самодовольный и гордый, появился в партере... Почетный и почтенный старец-театрал с глубоким чувством пожал ему руку, назвал его просвещенным любителем благородного хореографического искусства и заметил, что этот вечер навсегда останется памятным в театральных летописях.

После этого он даже удостоился пригласить Василия Прохорыча к себе на обед в честь приезжей знаменитости.

Обед этот мог назваться баснословным по роскоши. При окончании его, провозгласив тост приезжей знаменитости, маститый хозяин-театрал торжественно преклонил перед нею свои старческие, трудно стибавшиеся колена...

С этого дня почетный старец принял внука миллионера под свое высокое покровительство, и вскоре затем пронесся в городе слух, что внук миллионера нанял для приезжей знаменитости квартиру в одной из лучших частей города и великолепно меблировал ее. Приезжая знаменитость начала появляться на Невском проспекте в ослепительном блеске и в поражающей роскоши, что отчасти еще более способствовало ее сценическим успехам! Безусые офицеры и штатские франты начали сходить от нее с ума и всякий раз провожали ее на театральном подъезде, после представления, с криками, и когда однажды, тронутая таким энтузиазмом своих поклонников, она бросила им из кареты свой платок,

они растерзали его на части, чтобы иметь каждому хоть по маленькому лоскуточку этой драгоценности, и носили его потом на груди, зашив в ладанку. Близкие сношения внука миллионера с приезжею знаменитостью возвысили его значительно в глазах многих петербургских господ; те, которые прежде не хотели смотреть на него, начали даже заискивать его знакомство... Это была самая блестящая минута его жизни; но в то время как нравственный кредит его поднялся до такой высоты, его денежный кредит начал пошатываться. Со смерти своего дедушки он почти прекратил все коммерческие дела и, как носились слухи, значительно тронул свои капиталы: на покупку домов и дач, на постройку новых зданий, меблировку и прочее, и прочее; при этом говорили, что перед своими короткими сношениями с приезжею знаменитостью он должен был внести предварительно на ее имя в какое-то кредитное учреждение до 300 000 р. серебром.

Приезжая знаменитость, как оказалось впоследствии, отличалась твердостью, настойчивостью и необыкновенною жадно-

стию к деньгам и брильянтам. Она в домашней своей жизни была настоящая «Катарина, дочь разбойника» и не имела ничего общего с Сильфидами, Ундинами, Жизелями и со всеми этими восхитительными воздушными и идеальными существами, которых она так прекрасно олицетворяла на сцене. Положительность и расчетливость руководила всеми ее поступками в жизни. Она выписала из-за границы мать, двух братьев, которых пристроила в цирк, и еще какого-то француза-кузена, молодого и рослого малого, с курчавыми, густыми волосами, с большими усами, с самодовольными и вполне беззастенчивыми манерами, которому она отделила две комнаты в своей квартире... Вся эта орда содержалась, разумеется, на счет Василия Прохорыча, а у кузена завелись даже собственные экипажи.

Кузен, говорят, производил очень неприятное впечатление на Василия Прохорыча. Его свободное обращение с кузиной возбуждало в Василье Прохорыче чувство ревности – и он однажды решился требовать, чтобы кузена отправили назад за границу, но это требова-

ние возбудило такую страшную бурю, после которой да уж окончательно и безусловно притих и подчинился новоприезжей знаменитости, убеждаясь, что с знаменитостями нельзя обращаться, как с обыкновенными женщинами, с какими-нибудь Луизами, корифейками и им подобными.

Уверяли, что во время этой бури разбит был, между прочим, вдребезги превосходный севрский сервиз, стоивший рублей семьсот, который был поднесен Василием Прохорычем приезжей знаменитости в день ее рождения.

– Вы думаете, что я дорожу этой дрянью, которую вы дарите мне? – кричала она, приняв угрожающую, трагическую позу...

И при этом драгоценный сервиз вместе со столиком из розового дерева, с фарфоровыми медальонами во вкусе Буше, полетел с громом к ногам несчастного обожателя, и черепки Севра разлетелись по всей комнате...

– Vous etes un barbare! un monstre! un cosaque!.. Я не могу жить с вами более ни минуты... Я не хочу более видеть вас, – и прочее.

Василий Прохорыч при мысли, что приез-

жая знаменитость бросит его, совершенно потерялся и упал перед нею на колени, вымаливая прощение за свои дерзкие слова; но прощение последовало только тогда, когда поднесены были новые дорогие сюрпризы и подарки. И такие сцены повторялись беспрестанно... Братья приезжей знаменитости — также знаменитый эквилибрист и клоун и не менее знаменитый наездник, рассыпавшие в разговоре через слово: Fichtre, parbleu, morbleu, diantre и другие, еще более энергичские, восклицания, вместе с кузеном распорядились самовластно в доме своей родственницы: угощали своих приятелей обедами и ужинами, распивали шампанское с утра до ночи, метали ланскене, до которого сама знаменитость была величайшая охотница, и, кроме всего, еще обыгрывали Василия Прохорыча на значительные суммы...

Один из старинных знакомых Василия Прохорыча, известный петербургский аферист и ростовщик, родившийся, если я не ошибаюсь, от молдавана и мордовки, что-то вроде этого, с необыкновенным добродушием рассказывал однажды при мне на русском

языке, с каким-то странным акцентом, о том, как он угощал у себя обедом приезжую знаменитость с братцами и Василия Прохорыча. Я передам только одну сущность этого неподражаемого рассказа.

– Василий Прохорыч, говорю я им (и во все время рассказа ростовщик улыбался с хитростью и изредка подмигивал одним глазом) – мне бы очень хотелось угостить вашу даму. Приятная дама. Ух, какой глаз, а как ножками работает – боже мой!.. Если б она сделала мне такую честь, я счастливейший в мире был бы человек!.. А мне ее, видите, больно хотелось заманить, потому что вот какое обстоятельство: Василий Прохорыч привел меня к ней, отрекомендовал, я к ручке подошел и обедал у нее – все как следует. После обеда она подходит ко мне – тонкий эдакий взгляд, показывает на карты и спрашивает меня: мусье, говорит, будете в ланскенехт играть? Думаю, нельзя же отказаться. Первый раз в доме, неловко, и такая барыня приятная. – Я говорю: «Буду, буду, мадам». А она мне на это по-русски: «Это корошо, корошо!» – И сели мы.. Метали ихные братцы, молодцы такие на вся-

кие фокусы... я все вижу, молчу, неловко же мне, первый раз в доме. Делать нечего, проиграл двести, рублей, вынул и заплатил. Но я сам себе не враг, я наверстаю эти деньги, думаю себе, – они не пропадут. Я и позвал к себе откушать всю компанию, обед мне стоил триста рублей, вот и приметьте, стало быть, эта барыня стоила мне всего пятьсот рублей. После обеда я подхожу к ней, да и говорю так же, как она мне у себя дома: «Мадам, я говорю, будете в ланскенехт?» – и высыпал на стол всё золотые, такие новенькие, блестят. «Корошо, мосье, говорит, корошо», – а у самой глаз на золото так и разгорелся... И все с охотой уселись к столу... Я и начал метать, а я, вот видите, хоть и не умею по-ихнему фокусы делать, а своим манером делаю чисто, сансы уж все на моей стороне, я это знаю заранее. Барыня всё проигрывает и горячится и куши надбавляет. Тысячу пятьсот рублей проиграла. Я бы мог с нее десять, двадцать тысяч сорвать, но не хотел. Думаю, довольно, надо и совесть знать. Василий Прохорыч вынул полторы тысячи из кармана и тут же заплатил мне за них... Ну, а за что же я буду даром угощать, са-

ми скажите, и своих денег вынимать из кармана! На деньги можно получить удовольствие, тогда деньги не жалко... Но опять же такие дела делать, как Василий Прохорыч, без расчета, это себе во вред, это опять не годится. Что он посадил в эту даму денег – никто поверить не может... Еще годик – другой так, может случиться дурно, и кредит свой подорвет... и честь потеряет, банкрот будет. Что же хорошего? Мне жаль его, сердце у него славное, все на широкую ногу любит, но деньга не щепка; деньга – счет любит. Скопить миллионы трудно, а прожить – ничего не стоит. Ну теперь ему покуда деньги дают... теперь еще можно: у него еще женин капитал не тронут, а скоро придется, если все такую жизнь вести будут, и за женины денежки приняться...

Ростовщик скорчил печальную гримасу, вздохнул и покачал головою.

Действительно, через год после этого пронесли слухи в Петербурге, что дела Василия Прохорыча в величайшем расстройстве, что его дома, дровяные дворы и подвалы в Гостином дворе и на бирже, всё в залоге; что он

уже взял значительную часть денег из капитала своей жены и сверх этого ищет еще занять тысяч до пятидесяти. В то же время говорили, будто приезжая знаменитость приобрела два дома в Париже, в последнюю свою поездку за границу.

Отношения к ней внука миллионера, по уверениям его близких, становились с каждым днем тягостнее, сцены между ними чаще и чаще. Не было никакой возможности бороться с ее ежедневно увеличивающимися капризами и с беззастенчивостью ее родственников.

Капризы эти доходили до мелочей невероятных. Несмотря на то, что у нее был повар-француз, с блестящей репутацией, которому платились огромные деньги, она уверяла, например, что он не умеет готовить бульона, а что она без бульона ничего кушать не может; сердилась, выбегала из-за стола (это было только в те дни, когда Василий Прохорыч у нее обедал), и внучек миллионера должен был сам рыскать по всему городу за бульоном, но когда он являлся с бульоном, у нее пропадал аппетит и она выгоняла от себя

своего обожателя вместе с бульоном.

Такого рода ежедневные сцены приводили в страшное раздражение Василия Прохорыча, и гнев его, ничем не удержимый, раздражался обыкновенно дома. Он вымещал на своей жене все оскорбления и неприятности, которые покорно и молчаливо выносил от своей возлюбленной...

Сестра моего товарища (вышедшая замуж за человека, которого она давно любила) и ее муж, узнав положительно о расстройстве дел Василия Прохорыча и о том, что Ольга Петровна отдала уже ему значительную часть из своего капитала, поняли, что для спасения ее надо действовать неотлагательно и решительно, – и они уговорили ее остальные принадлежащие ей деньги отдать в полное их распоряжение...

Василий Прохорыч не подозревал этого. Ему понадобилось тысяч десять на покупку брильянтового кольца, которое он хотел поднести приезжей знаменитости в день ее бенефиса, надеясь таким подарком смягчить несколько ее строптивость.

Василий Прохорыч обратился за этими

деньгами к жене, уверенный вполне, что отказа не будет, но когда Ольга Петровна объявила ему, что она уже не может располагать своими деньгами и что она отдала их, он сначала остолбенел от удивления, как будто не веря своим ушам, потом пришел в совершенное бешенство...

– Я знаю, кто тебе дает эти советы!.. – кричал он. – Я все понимаю... Это твой друг, твоя приятельница!.. Да я им не позволю вмешиваться в наши семейные дела! Я твой муж, но знаешь ли ты, что жена, по закону, должна во всем беспрекословно повиноваться мужу. Ты хочешь идти против закона? Я тебя заставлю повиноваться мне... От сегодняшнего дня я требую, чтобы нога твоя не была в доме той госпожи, которую ты считаешь своим другом!

Василий Прохорыч махал руками, топал ногами, принимал угрожающие позы и стучал кулаком по столу.

Но когда Ольга Петровна решительно и твердо объявила ему, что она скорей оставит его, чем свою приятельницу, Василий Прохорыч вдруг, удивленный таким неожиданным отпором, присмирел.

Он понимал, что, если она оставит его в эту минуту, он потеряет совершенно кредит: Василий Прохорыч попросил у нее извинения за свою горячность и поцеловал ее ручку. Он не был зол, и если бы жена его в самом деле вздумала оставить его, он, наверно, огорчился бы этим и, может быть, пролил бы даже несколько слез об ней втайне, хотя вообще он не питал к ней ни малейшей нежности, редко виделся с нею и не мог не сознать, что она даже несколько мешает его разгулу.

Когда я однажды спросил у сестры моего товарища:

– Каким образом такая женщина может жить с таким мужем? – она отвечала мне, что Ольга Петровна несколько раз признавалась ей в том, что ее положению очень тяжело, что она не любит его, но между тем невольно чувствует к нему что-то вроде жалости, потому что у него доброе сердце...

Деньги на кольцо Василий Прохорыч достал через добродушного ростовщика – молдавана более 50 на 100, и подарок был поднесен приезжей знаменитости после первого акта балета вместе с огромным и великолепным буке-

ТОМ.

Но ни угодливость, ни покорность, ни подарки – ничто не смягчало ее сурового сердца и строптивого нрава. Она беспощадно продолжала обирать и терзать своего несчастного обожателя. Василий Прохорыч, как настоящий русский человек, с горя запил. Сулеечки уже перестали удовлетворять его, он приступил к более солидным винам и начал колебаться между eau de vie de France, то есть коньяком, и очищенной.

Он напивался почти каждый вечер в своем задушевном кругу и в нетрезвом виде начинал обнаруживать буйство.

Однажды князь Ртищев, который после нескольких лет снова возобновил знакомство с Василием Прохорычем, уговорил его устроить у себя вечеринку с цыганами.

Вечеринка эта по своим неожиданным трагическим последствиям произвела важный переворот в жизни внука миллионера и наделала большого шума в городе. Об ней рассказывали потом различным образом, но я сообщу здесь об ней достоверный рассказ одного из присутствовавших.

IX

Вечеринка была устроена в большой парадной столовой. Кроме задушевных приятелей Василия Прохорыча, неизбежных лиц на всех его пирах – Ивана Петровича, купеческого сына Мыльниковова, жида-фактора, актера, капельмейстера и других, присутствовало еще несколько приятелей князя Ртищева.

Цыгане явились к 11 часам, и тотчас же началась попойка.

В одном из антрактов между песнями, когда уже было порядочно выпито, кто-то из присутствовавших заметил другому, отказывавшемуся от вина, что он боится пить оттого, что находится под башмаком у жены. Князь Ртищев подхватил это и, потрепав по плечу внука миллионера, обратился ко всем, улыбаясь, и сказал:

– А ведь как вы думаете, господа, наш амфирион тоже под башмаком у своей супруги!

– У которой? – вскрикнул кто-то.

– Я говорю про законную, – отвечал князь, – у других-то, батюшка, мы все под башмаками! Василий Прохорыч несколько

обиделся.

– Ну что, неправда, что ли? – спросил его князь.

– Нисколько, с чего ты это взял? – возразил Василий Прохорыч, – я ссылаюсь на всех вас (он обратился к своим друзьям), кто хозяин в доме, кто распоряжается всем, я или она?

– Еще бы! разумеется – ты, – закричали ему друзья в один голос.

– Нет, ваше сиятельство, уж этого никак нельзя сказать про Василия Прохорыча, они, точно, что глава в доме, – прибавил Иван Петрович, обратившись к Ртищеву.

Ртищев взглянул на Ивана Петровича, как на прожужжавшего комара или на пролетевшую муху, повернув чуть-чуть голову в его сторону.

– Я повторяю, что ты под башмаком у жены, – сказал он, обращаясь к Василию Прохорычу, – полно, не притворяйся. Ты думаешь, что я поверю этим (князь Ртищев кивнул головой в ту сторону, где сидел Иван Петрович и жид-фактор), – свидетельство людей подчиненных нельзя принимать. Ну докажи, что ты господин у себя в доме и что не ты нахо-

дишься под властью у жены, а жена под твоею властью.

– Хорошо, но как же это доказать?

– Очень просто, – отвечал князь Ртищев, – если Ольга Петровна явится сюда к нам теперь, хоть на минуту, я беру свое слово назад и признаюсь, что я ошибался.

Василий Прохорыч призадумался, выпил залпом стакан вина и потом произнес решительно и торжественно:

– Через пять минут она будет здесь.

– Bravo! – воскликнул князь.

– Bravo! – крикнули вслед за ним другие.

Через несколько времени Василий Прохорыч явился действительно с Ольгой Петровною.

Только что она переступила порог комнаты, как грянуло оглушающее «ура!», повторившееся троекратно.

– Здоровье Ольги Петровны! – закричал князь Ртищев, взяв бокал и подходя к ней.

– Здоровье Ольги Петровны! – повторило все собрание.

– Я пью ваше здоровье, – сказал ей князь Ртищев тихим голосом.

Передавший мне эту сцену заметил, что появление этой несчастной женщины в полупьяной и дикой компании, среди разрумяненных и наглых цыганок, при щелканье пробок и при неистовых, оглушающих криках произвело на него страшное впечатление.

– Мне вдруг стало стыдно за себя, что я попал в это общество, – говорил он, – я почувствовал презрение и негодование ко всем этим господам и тут же дал себе слово прекратить с ними всякие сношения. У меня сердце обливалось кровью, глядя на эту бедную женщину!

Когда она вошла, в первую минуту лицо ее выражало не то испуг, не то недоумение, а когда князь Ртищев подошел к ней и заговорил с нею, она вся помертвела.

– Величанье Ольге Петровне! – закричал Ртищев, подставляя стул и садясь возле нее.

Когда цыгане пропели величанье, он наклонился к ней и что-то начал нашептывать ей. Лицо ее в это время быстро менялась, она то краснела, то снова бледнела... вдруг он взял ее за руку, но она отдернула от него руку

судорожно.

В эту минуту муж ее, который не мог уже твердо держаться на ногах, постоянно следивший за нею и за князем Ртищевым, посматривая на него мрачно и озирая его с ног до головы, ко всеобщему удивлению выступил вперед.

– Милостивый государь, – начал он, обратившись к Ртищеву, – я не позволю вам волочиться за моею женою. Слышите ли? Вы опять за старое, я все знал, все видел, и молчал только потому, что не хотел говорить, а мне все равно, что вы князь. Вы говорите, что я у нее под башмаком, так я же вам докажу, что я не под башмаком у нее, – я не потерплю, чтобы она позволяла вам за собой волочиться. Я ей этого не позволю, я с ней могу все сделать и из дому ее выгнать, потому, что я муж.

– Василий Прохорыч, полноте... что это вы?.. – заговорили в один голос приятели, испуганные такую неожиданною выходкою. Князь Ртищев сердито посмотрел на них и только проговорил сквозь зубы:

– Оставьте его, он пьян! С ним можно будет говорить только тогда, когда он проспится.

– Я пьян?.. – С этим словом внук миллионера хотел было броситься на князя, но его удержали, Ольга Петровна в эту минуту вскочила со стула, но вдруг вскрикнула и упала на пол. Ее подняли и вынесли, а Василий Прохорыч начал после этого рваться к ней, колотить себя в грудь и плакать. Князь Ртищев грозил убить его, все остальные старались успокоить его и разошлись в величайшей тревоге.

Говорят, что внучек миллионера просил потом прощения у князя и что князь по великодушию своему не только простил его, но даже вслед за тем распил вместе с ним несколько сулеек шампанского.

Через два дня после этой сцены, о которой мне рассказывали на другой день, мой товарищ заехал ко мне часу в седьмом вечера. На нем, как говорится, лица не было. Я испугался, взглянув на него.

– Я у тебя нечаянно... – сказал он, – возле тебя живет доктор, которого я ищу... я не застал его дома. Мне сказали, что он воротится через четверть часа...

– Что ты, болен? – спросил я, – что с тобой? Ты страшно изменился.

– Я совершенно здоров, – это я не для себя. Бедная Ольга Петровна умирает. Она у моей сестры уже два дня. Сестра перевезла ее большую к себе, и сегодня ей сделалось хуже. Я знал, что это должно кончиться трагически рано или поздно, так и случилось... Ее доктор сказал, что у нее начинается нервическая горячка... В сию минуту она в бреду.

Товарищ мой, говоря это, ходил в беспокойстве по комнате и беспрестанно смотрел на часы.

– Ни я, ни сестра не слишком доверяем ее доктору, потому я и хочу пригласить твоего соседа. Его все хвалят... Не правда ли, он хороший доктор?.. Да ты ничего не слыхал, – спросил он, остановившись вдруг против меня, – ты не знаешь, какую сцену перенесла она?..

– Я знаю, – отвечал я, – мне обо всем рассказывал один из свидетелей.

– Этот пьяный негодяй – муж ее, силою притащил ее на свою грязную пирушку и спьяна вдруг начал ревновать ее к Ртищеву, хотя прежде он радовался, что Ртищев влохился за нею, и даже хвастал этим. А Ртищев-то хорош!.. Он нагло приставал, надо-

едал, не давал покоя этой несчастной женщине в течение целого года, компрометировал ее. Она все передавала моей сестре, ты знаешь их дружбу. Ольга Петровна, несмотря на свою доброту и кротость, не могла никогда говорить об этом человеке без отвращения... И если бы ты мог представить себе, какие меры употреблял этот господин, – и ведь он еще отец семейства! – для достижения своей цели, с какою бессовестностью он вел себя относительно ее и как он потом мстил ей, когда убедился, что ему ничто не удастся; что он наговорил ей в этот вечер при первой встрече с нею после нескольких лет!.. Если бы это передал мне кто-нибудь другой, если бы я слышал это не от сестры моей, которая слышала все от самой Ольги Петровны, я не поверил бы этому. И он позволял себе все это потому только, что он князь, а она жена купца. Что такое для него, князя, жена купца? Он хоть всю жизнь возится с барышниками и с пьяными цыганами, хоть у него больше лошадиная, чем человеческая природа, – несмотря на это, он с ног до головы все-таки проникнут своим аристократическим достоинством... И

такого господина я считал своим приятелем и называл добрым малым! Но прощай, однако, мне пора... Ну что, если я опять не застану этого доктора? Что я буду делать?.. Сделай мне дружбу, поедем вместе – мне надо сию же минуту во что бы то ни стало достать доктора... надо спасти ее во что бы то ни стало!..

Товарищ мой был в таком волнении и беспокойстве, что и без его просьбы я не оставил бы его одного...

Жизнь Ольги Петровны в течение некоторого времени подвергалась величайшей опасности, так что доктора теряли надежду на ее выздоровление и потом сами признавались, что она спаслась каким-то чудом. Во все время ее болезни, которая продолжалась четыре месяца, сестра моего товарища не отходила от ее постели и товарищ мой все это время почти жил у сестры.

Ольга Петровна начала выздоравливать к началу весны. Доктора для окончательного поправления ее здоровья посоветовали ей ехать за границу, и она отправилась вместе с сестрою моего товарища и ее мужем на первом пароходе.

Через два месяца после их отъезда товарищ мой объявил, что он выходит в отставку и также намерен отправиться за границу.

– Я чувствую, – говорил он мне, – что мне необходимо оторваться на время от всех моих пошлых воспоминаний, которые не дают мне покоя и пробуждаются здесь неволью на каждом шагу; отдохнуть от всех оскорблений, огорчений, обманутых надежд, забыть всю эту жизнь, даже все эти улицы, здания, обычаи и в особенности лица, которые я не могу видеть без раздражения и от каждого слова которых у меня разливается желчь... Тяжело провести полжизни бессознательно, бессмысленно, в какой-то страшной пустоте и в чаду и потом, утратив половину энергии, половину способностей, одурев несколько от этой жизни, сознать все это; но еще тяжелее, ощутив потребность серьезной деятельности, горячее желание принести хоть крупицу пользы, сделать хоть что-нибудь доброе и порядочное в жизни, чтобы искупить свое прошлое, – дойти наконец опытом до сознания, что все это мечта, что рутина и предрассудки еще так сильны, что из борьбы с ними невоз-

можно выйти победителем... Я бился больше трех лет как рыба об лед, и что же из этого вышло? Люди, и очень значительные люди, которые оказывали мне величайшую благосклонность и даже подталкивали меня вперед, когда я ничего не делал и вел пустейшую и беспутнейшую жизнь, которые называли меня тогда «славным и добрым малым» и даже удостоивали меня протягивать свои руки, – отвернулись от меня, когда я принялся за дело горячо и серьезно, не отступая ни перед кем от своих убеждений и не продавая их. Все эти значительные люди говорят обо мне теперь, что я «или дурак, или человек беспокойный и вредный...» Когда я обратился по одному вопиющему делу к одному из таких значительных лиц, оказывавших мне свое высокое благоволение, – он мне приходится еще и родственник немного, – и рассказал ему все дело в подробности и роль, которую я в нем принял на себя, и просил его содействия и помощи, он сказал мне: «Ты действуешь благородно и честно. Мешать я тебе не буду, но на мою помощь не надейся. Мое имя тут не должно быть вмешано...» И мне остается теперь на

выбор – или изменить своим убеждениям, то есть сделаться подлецом – и продолжать с успехом подвизаться на служебном поприще, получая потом через два года награды, как это обыкновенно водится, – или бросить все и уехать куда-нибудь подальше. Я уж, во всяком случае, последнее предпочитаю первому... А и то сказать – нельзя же безусловно складывать все на других и оправдывать самого себя. Из всего нашего поколения, кажется, никакого толку не выйдет. Мы не приготовлены для борьбы, и большая часть из этого поколения, – я говорю о самых замечательных и лучших людях, – теряют всякую энергию и падают духом при малейшем препятствии. А уж если лучшие люди таковы, – так чего же ожидать от нас. У нас нет ни терпения, ни силы воли, ни ловкости, чтобы взяться за дело!.. Мы представляем какое-то печальное и жалкое зрелище и в общественной и в частной жизни. На словах мы мыслители, герои, а чуть до дела, то при малейшем препятствии, при малейшей опасности, – и даже недоразумении, сейчас на попятный двор, и потом уверяем себя, что истощили все силы в

борьбе, сделали все, что можно, – вот так, как я себя теперь уверяю; а другой на моем месте, может быть, и преодолел бы препятствия, и не отстал бы от дела так скоро...

Товарищ мой остановился на минуту, грустно улыбнулся я прибавил:

– Впрочем, такого героя, я думаю, найти трудно. Давид победил одного Голиафа, но с десятками Голиафов он все-таки не выдержал бы борьбу... Нет, за границу, поскорей за границу!..

Слушая эти речи моего товарища, я думал: «Как самые прямодушные и откровенные люди иногда при объяснении своих поступков забавно стараются обманывать и других и самих себя! Не препятствия и неприятности по служебной деятельности, а совсем другое обстоятельство, которое разгадать было не трудно, манило его за границу, но он как будто самому себе боялся признаться в этом...»

Перед самой минутой расставанья он обнял меня и еще двух своих приятелей, которые провожали его, и сказал нам сквозь слезы:

– Ну, прощайте друзья! Вряд ли мы скоро

увидимся. Здесь мне нечего делать. Я убедился в этом. Жизнь моя вообще как-то дурно устроилась. Я никому не нужен, да и сам себе становлюсь в тягость. Прощайте...

Мне говорили (я, однако, не ручаюсь за это), что внук миллионера очень раскаивался в своем поступке с женою и даже (это уж непонятно) несколько дней скучал без нее.

Приезжая знаменитость также оставила его вскоре после этого. Она с кузеном отправилась за границу, потому что дирекция театров не возобновила с нею контракта.

Внук миллионера близился к банкротству. Дома и дачи его были проданы с аукционного торга, и люди знающие говорили, что за уплатой всех долгов у него должна остаться весьма небольшая сумма денег. Переезд Ивана Петровича к купеческому сынку Мыльникову яснее всего обнаруживал, в каком печальном состоянии находятся дела Василия Прохорыча.

Через три года после отъезда за границу его жены существование его совсем изгладилось... Он как в воду канул и нигде не показывался.

Х

С отъезда моего товарища за границу прошло уже четыре года. Я получил от него несколько писем, хотя он вообще по своей ленивой природе писать письма не охотник, даже к друзьям, и я не обвиняю его за это. Он пишет только тогда, когда у него накапливается в груди и когда он чувствует уже непреодолимую потребность высказаться. Такого рода друзья (по моему мнению) гораздо приятнее и удобнее тех, которые вместо писем посылают вам обыкновенно целые трактаты и диссертации, если не еженедельно, то уж наверно ежемесячно. Какую бы пламенную дружбу вы ни питали к человеку, но читать груды тонких почтовых листов, мелко исписанных, хотя бы дружескою рукою, — это величайшее из наказаний.

Письма моего товарища из-за границы (всегда очень короткие) постепенно становились все грустней и грустней. В конце их он всегда прибавлял несколько строчек об Ольге Петровне. Из них можно было заключить, что сначала теплый климат подействовал на нее

благодетельно и ни товарищ мой, ни сестра его не сомневались в том, что она совершенно поправится; потом надежды эти понемногу слабели, — она начинала чувствовать припадки болезни неисцелимой, — и наконец обратились в боязнь за ее жизнь. Вот отрывок из последнего письма моего товарища:

«Я пишу к тебе в той комнате, в которой лежит наша больная, и боюсь, чтобы скрип моего пера не потревожил ее. Из этого ты можешь заключить, в каком положении она находится... Боже мой! если бы ты мог вообразить, как она изменилась, как похудела! Но несмотря на все страдания болезни, она сохранила вполне свою прежнюю привлекательность, то милое выражение, которое ты, верно, помнишь и которое с первого взгляда привлекало к ней всякого порядочного человека. Если бы ты знал, сколько желчи, негодования и презрения во мне сию минуту к самому себе, к непростительной дряблости моего характера, смешанной с возмутительным легкомыслием!

Ты, верно, догадывался, что я люблю ее. Несмотря на наши дружеские отношения, я

никогда тебе не говорил об этом, потому что я сам только об этом догадывался! В этом нет ничего удивительного, потому что я не был до сей минуты человеком вполне, и догадывался только, что я человек... Разве было, в самом деле, что-нибудь человеческое в моей прежней дикой, беспутной жизни?.. Только увидев в первый раз ее, я сознал, что внутри меня есть все то, что отличает человека от животного, и чувство, и мысль, и сердце, не в смысле куска мяса, а способное к благородным движениям и готовое биться для возвышенных ощущений. Я ей обязан всем этим. И знаешь ли, если бы я до этого не был избалованным, пустым и оупевшим барчонком, праздным кутилою без смысла и воли, – если бы я был человеком с самостоятельностью, с разумной силой воли, с энергией... я мог бы быть счастлив, бесконечно счастлив. Я ей не был противен, она питала ко мне даже некоторое расположение, и в сию минуту, когда смерть стоит между ею и мною, теперь я убедился, что она и любит меня, – и только теперь я ощущаю в себе силы человека и готов на все для ее спасения, когда уже для нее нет

спасения!

А счастье было в моих руках... Разве с любовью в сердце, вполне сознанный, с энергией, свойственной всякому разумному существу, я не преодолел бы для нее все препятствия, как бы они ни казались непреодолимыми, и не предупредил этот несчастных! брак, который сводит ее теперь в могилу?.. Как ни был дик, груб и упорен ее отец, – он все-таки любил ее... Но я, как презренный трус, увидев препятствие, тотчас свернул в сторону, стал уверять себя и успокаивать тем, что я не способен к семейной жизни, что я не могу составить счастья этой девушки, что наконец, если бы я решился жениться на ней, то это огорчит мою маменьку... Я тебе признаюсь во всем в сию минуту... я не боюсь теперь твоего презрения, потому что я сам презираю себя: упрекая мою мать в предрассудках касты, я сам, обвиняющий, был до того заражен этими предрассудками, что в иные минуты, несмотря на непреодолимое мое влечение к Ольге Петровне, мысль, что она дочь купца, смущала меня. Я краснел от этого, сознавая все безобразие этого смущения, но, однако, с

трусом побеждал его в себе...

Когда она вышла замуж и Ртищев – мой друг начал наглым образом ухаживать за нею и хвастать своим волокитством, я – человек, любивший ее, молчал и только внутренне озлоблялся... Я не зажал рта этому наглomu господину и не назвал его в глаза подлецом, как я ни порывался на это. Я оправдывал себя тем, что это еще более может повредить ей, наделает скандала... Но, в сущности, я боялся скандала не за нее, а за себя... Пойми же ты всю бесконечность, всю постыдную неизмеримость такого бессилия!..

Куда же и на что же мы годны после этого?.. Что же доброго можем мы сделать?.. И теперь еще, написав это мы, я ведь утешаю себя, что не один я таков, что все наше поколение так ничтожно я слабо.

Несмотря на все мои прошлые беспутства и теперешние внутренние муки, – я здоров: у меня широкая грудь, которая от камня не разобьется, как у знаменитого Раппо; я дышу так полно и свободно, а у нее осталось легких, может быть, только на месяц!.. Спрашивается, для чего природа наградила меня таким здо-

ровьем и к чему мне оно?..»

Много времени прошло после этого письма, но с тех пор я не получал от него ни одной строчки и ни от кого не слышал ни об нем, ни об ней. Мать его давно переселилась в деревню, а к петербургским своим приятелям он не писал больше полугода... Где он и что с ним?

Недавно вечером я шел по ораниенбаумской дороге. Верстах в двух не доходя до Петергофа, на левой стороне к морю, недалеко от большой дороги, стоит особняком в песке двухэтажный безобразный дом с мезонином, окрашенный темно-желтой краской, с тремя торчащими перед ним небольшими соснами. На этом доме полинялая и облупившаяся вывеска, на которой золотыми буквами изображено: «Трактир Traiteur Tracteur». В середине дома крыльцо с шестью ступеньками; влево от крыльца окна, в которых видны грязные и оборванные кисейные занавески; верхний этаж кажется необитаем. Я всегда недоумевал, для чего существует этот «Tracteur».

Проходя в этот раз мимо этого непонятного заведения, я увидел у крыльца его новые запыленные дрожки, запряженные тройкой;

извозчик, малый лет под тридцать, красивый собой, в синем тонком армяке и в шляпе набекрень, принадлежавший к тому роду извозчиков, которых обыкновенно называют лихачами и которые от Аничкина до Полицейского моста запрашивают не менее двух целковых, – сидел подбоченясь и несколько развалившись на сиденье для седоков... Один мой литературный друг – человек очень наблюдательный и остроумный, заметил однажды, что к самому наглому и безнравственному классу петербургского народонаселения принадлежат банщики, швейцары, лакеи аристократических домов и извозчики-лихачи. Это очень верно, особенно относительно последних. Извозчик-лихач: что-то кричал, посматривая на господина, одетого франтовски, но в поистершемся платье и в фуражке также набекрень. На крыльце стоял половой, а неподалеку от господина в фуражке другой господин, с седой, небритой несколько дней бородой, в оборванных пестрых штанах с фестонами, в истертом светло-коричневом сюртуке и в зимней фуражке из желтых мерлушек. Издалека было заметно, что господин в фураж-

ке, который был пьян, уговаривал о чем-то лихача – извозчика и что извозчик не соглашался.

Лихач был также навеселе.

Я подошел поближе.

Черты пьяного господина, уговаривающего лихача, показались мне как будто знакомыми. Это меня удивило несколько, и я начал в него пристальнее вглядываться. Оказалось, что это был г. Пивоваров, внук русского миллионера, что меня несколько не удивило... Несмотря на то, что он совершенно отек и что лицо его, все испещренное жилками, приняло багровый оттенок, я, вглядевшись в него, узнал его тотчас.

– Ну, послушай, Ваня, – говорил внук миллионера, обращаясь к лихачу с убедительными жестами, к которым так любят прибегать все пьяные, – ну, сделай ты мне это одолжение... я тебя прошу, понимаешь ты это... я тебя прошу... мы, братец, переночуем в Петергофе, кутнем вместе, а завтра в город...

– Да на что кутить-то? – возразил лихач, – прыти-то в вас много, да толку-то мало. Ведь гроша в кармане нет... а еще кутить!

– Ваня... послушай, Ваня... я тебе клянусь, – и внук миллионера поднял руку к небу и потом размахнул ею, – вот все они свидетели...

– Мы свидетели, – перебил господин в фуражке из желтых мерлушек, приподняв фуражку двумя опухшими пальцами и с заискивающей улыбкой посмотрев на внука миллионера, – мы свидетели! – повторил он.

Лихач презрительно улыбнулся.

– Они все свидетели, – продолжал внук миллионера, – ты мне только дай пятнадцать рублей – я завтра отдам тебе, ей-богу отдам... уж ты мной будешь доволен, я тебе говорю, что угощу, Ваня, ей-богу, то есть так угощу – вот ты увидишь.

– Угостишь на мои деньги-то! Хорошо угощение! Да что тут толковать? Нечего тут балясы-то попусту точить. Едем сейчас в Петербург... Что в самом деле?

– Ваня, ну смотри, Ваня! – И внук миллионера погрозил ему пальцем... – я тебе сколько передавал денег... Вспомни ты это одно! Я миллионами, братец, ворочал; у меня деньги есть, я отдам тебе пятнадцать рублей... Честное слово. Что мне пятнадцать рублей – на-

плевать.

– Они отдадут, непременно отдадут! – прохрипел господин в фуражке из желтых мерлушек.

– Вот слышишь? он мне верит... Эй, половой! подай ему за это стакан водки... Вот тебе четвертак – возьми! – и он бросил монету на песок.

Половой долго рылся, отыскивая ее, наконец нашел и отправился за водкой.

Господин в фуражке из желтых мерлушек взял стакан дрожащей рукой.

– Ну, пей за мое здоровье! – вскрикнул внук миллионера, обращаясь к господину в фуражке из желтых мерлушек, – пей и поклонись мне в ноги. Слышишь?

– Слушаю, благодетель, слушаю! – вскрикнул господин в желтых мерлушках, разом выпил стакан, крякнул с неописанным наслаждением, прокричал: ура! и потом бухнулся в ноги промотавшегося миллионера.

– Кто это? – спросил я у половую...

– Этот, что в ногах-то валяется? Это так, пьянчужка, петергофский мецанин, – отвечал он презрительно.

– Ну, а этот господин зачем остановился тут у вас?

– Пива спрашивали, пить захотелось, – из Рамбова едут, извозчик говорил, что они всю ночь там прокутили...

Я не дождался конца этой грязной сцены и побрел к морю...

Это была моя последняя встреча с внуком миллионера.

Мне сделалось тяжело и грустно. Здесь этот спившийся купчик, в несколько лет промотавший миллионы, перешедший через все степени беспутства и оканчивающий свое поприще у грязной харчевни на большой дороге, и там, далеко за морем, загубленная им умирающая женщина – и мой бедный друг... Какие странные сближения!.. и кого винить во всем этом – судьбу, случай, отдельные лица, общество?..

Я подходил к морю.

Широкая и чудная картина разворачивалась передо мною... На бесконечном водяном пространстве не было заметно ни малейшей зыби. Море не дышало. Оно было гладко как стекло, отражая на своей поверхности вечер-

нее зарево ярко-розовыми и бледно-палевыми полосами, которые, удаляясь от заката, бледнели, принимая опаловый цвет... На этой беловатой поверхности резко чернелись две неподвижные рыбачьи лодки и в них также два неподвижных человеческих силуэта. Далее к востоку море исчезало в синеватой мгле. Ни один листок не шевелился на прибрежных деревьях, ни малейшего звука и движения не слышно было в воздухе. Я подошел к самой окраине моря и долго стоял, смотря на эту картину и боясь пошевелинуться, чтобы не нарушить торжественного спокойствия, в которое погружена была в эту минуту природа... Я начинал дышать легче, вдыхая в себя морскую свежесть вместе с запахом только что скошенной травы; я чувствовал, как постепенно гасли все мои мысли, замирали все вопросы внутри меня и бледнели все образы, вызванные моим воображением... Эта тишина природы с каждой минутой все более и более сообщалась мне и охватывала всего меня... Я уж ничего не мог думать, голова моя была как в тумане, я не мог оторвать глаз от моря и начинал.